

Российская Академия наук  
Институт философии

\_\_\_\_\_ С. А. КОРОЛЕВ \_\_\_\_\_

**БЕСКОНЕЧНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО**

*Гео- и социографические образы власти  
в России*

Москва  
1997

**ББК 66.01**  
**К 68**

**В авторской редакции**

**Рецензенты:**

доктор ист. наук *Е.Я. Виттенберг*  
доктор филос. наук *Л.И. Новикова*  
доктор филос. наук *А.С. Панарин*

**К 68**      **КОРОЛЕВ С.А. Бесконечное пространство:  
гео- и социографические образы власти в России.  
– М., 1997. – 234 с.**

Книга посвящена анализу того, как складывалось и функционировало в России пространство власти, т.е. географическое пространство, организованное, структурированное, стратифицированное определенной исторически сложившейся совокупностью властных технологий. Значительное внимание уделяется соотношению власти, политики и геополитики. Автор рассматривает макротехнологии, определяющие специфику и облик российского пространства власти.

ISBN 5-201-01943-9

©С.А.Королев, 1997

©ИФРАН, 1997

## Оглавление

<b>Глава I. Власть: позиция видения .....</b>	<b>5</b>
1. Власть как пространство власти .....	5
<i>Понимание пространства .....</i>	<i>5</i>
<i>Измерения пространства: гео-графия и социография ....</i>	<i>11</i>
2. Власть как технология власти .....	15
<i>“Бессознательное власти” .....</i>	<i>15</i>
<i>Типы технологической организации .....</i>	<i>19</i>
3. Организация пространства .....	23
<i>Эпидемия чумы. Контроль локального пространства ....</i>	<i>23</i>
<i>Паноптикон: конструктивный образ</i> <i>дисциплинарной власти .....</i>	<i>24</i>
<b>Глава II. Пространство власти в России/СССР/России ....</b>	<b>32</b>
1. Колонизация как способ стратификации пространства .....	32
<i>Своеобразие российской колонизации .....</i>	<i>32</i>
<i>От океана до океана: пространство власти</i> <i>в России, Америке и Австралии .....</i>	<i>40</i>
<i>“Высыхающее пятно”: феномен деколонизации .....</i>	<i>48</i>
2. Метаморфозы техноструктуры .....	52
<i>Орда как “внешний центр” .....</i>	<i>52</i>
<i>Организация пространства и самосохранение власти ...</i>	<i>59</i>
<i>“Москва — Третий Рим”: диффузия</i> <i>символического насилия .....</i>	<i>66</i>
<i>Раздвоение технологической машины .....</i>	<i>72</i>
3. Феномен “реконкисты” властного пространства ....	76
4. Глобальные катастрофы в российском пространстве власти .....	84

<b>Глава III. Технология власти в геополитическом контексте .....</b>	<b>101</b>
1. Понимание геополитики .....	101
2. Российская геополитика, технологическая интерпретация .....	106
<i>Геотехнологическая карта: зазоры между линиями ..</i>	<i>106</i>
<i>Москва — Петербург: центр геополитический и центр технологический .....</i>	<i>110</i>
<i>Феномен технологической недостаточности: Алеутские острова, Камчатка, Курилы .....</i>	<i>114</i>
<i>К западу от Смоленска: феномен технологической избыточности .....</i>	<i>125</i>
3. Геополитическая утопия как жанр исторического действия .....	126
<i>Геополитическая утопия от Александра Великого до Сталина .....</i>	<i>128</i>
<i>Утопия становится реальностью .....</i>	<i>138</i>
<i>Геотехнологическая утопия, советский вариант .....</i>	<i>141</i>
<i>Технологическая статика как <i>idée fixe</i> власти .....</i>	<i>147</i>
<b>Глава IV. Макротехнологии в российском пространстве власти .....</b>	<b>159</b>
1. Технологии локализации .....	160
<i>Крепостное право: вопль отчаяния власти? .....</i>	<i>160</i>
<i>Паспортная система и прописка: институт и технология .....</i>	<i>175</i>
2. Машина депортации .....	181
3. Лишение избирательных прав: технологии исключения в России/СССР/России .	188
4. Изоляция как способ наказания. Специфика российской тюрьмы .....	197
5. Стратегия унификации. Трансформация русского произвола (Иван Грозный, Павел I, Сталин) .....	212
6. Стигматизация. Доносительство как машина контроля .....	217

# ГЛАВА I

## ВЛАСТЬ: ПОЗИЦИЯ ВИДЕНИЯ

Эта книга представляет собой попытку проанализировать и осмыслить то, как складывалось и функционировало (функционирует) в России *пространство власти*.

Поэтому прежде всего следовало бы определить, что автор понимает под *пространством* вообще и *пространством власти* в частности, тем более, что употребление этих понятий (в особенности первого), как, впрочем, и большинства философских понятий, весьма многообразно.

### 1. Власть как пространство власти

#### *Понимание пространства*

Примем за точку отсчета то, что Ф.Ницше говорил о *пространстве внешнем* и *пространстве внутреннем*; внешнее пространство составляют социальные и политические структуры, климат, семья и т.п.; внутренне пространство — это некоторая сфера духовной жизни человека (язык, сознание, болезнь и т.д.)<sup>1</sup>.

В контексте размышлений Ницше пространство власти — это, естественно, нечто, относящееся к пространству внешнему. Ведь внешнее пространство — это прежде всего чувственно воспринимаемая реальность, некие ландшафты, некие территории, имеющие реальную протяженность, и вообще все и всяческие формы “бытия” земной поверхности (суша, мировой океан, лед, горные хребты и т.д. и т.п.).

Однако внешнее пространство не сводится к чувственно воспринимаемой географической, физической и прочей грубо материальной реальности. Подобное понимание пространства — а именно презумпция того, что пространство не сводится к чувственно воспринимаемому пространству,

к пространству географическому, физическому и т.п., — лежит в рамках определенной философской традиции.

В частности, еще М.Хайдеггер искал ответ на вопрос:

*«Можно ли все-таки расценивать физически-технически выброшенное пространство, каким бы последующим определением оно ни подвергалось, как единственное истинное пространство? Неужели в сравнении с ним все иначе устроенные пространства, художественное пространство, пространство повседневного поведения и общения — это лишь субъективно обусловленные частичные и видоизмененные формы единого объективного космического пространства?»<sup>2</sup>.*

Иными словами, может ли то, что здесь названо физически-техническим пространством, считаться тем пространством, к которому должна быть заранее привязана всякая характеристика пространственного?

Для обнаружения того, что Хайдеггер называет собственным существом пространства, немецкий философ призывает прислушаться к языку, проанализировать этимологию самого этого слова. В слове “пространство” как бы заключено понятие “простор”. А это, полагает Хайдеггер, значит нечто просторное, свободное от преград:

*«Простор несет с собой свободу, открытость для человеческого поселения и обитания»<sup>3</sup>.*

С этим трудно не согласиться: действительно, абстрактный простор, вообще-простор, простор, не превращенный пока в нечто иное в процессе технологической стратификации, — открыт и содержит в себе неограниченный потенциал свободы. И чем ближе это пространство к природному “физическому” состоянию, тем более у нас оснований говорить об открытости и свободе. Но как проявляет себя пространство, являющееся потенциальным пространством свободы, в условиях преобразования его властью? Каковы пределы тех усилий, которые необходимы власти, чтобы подчинить, стратифицировать это пространство? Означает ли имманентная устремленность пространства в бесконечность, к безграничному простору, что чем больше потенци-

ал свободы, заложенный в пространстве, тем выше та мера насилия и несвободы, которую использует власть, преобразовывая это пространство? И что пространство, устремленное в бесконечность свободы, неизбежно порождает пространство власти, воспроизводящее самое себя и мыслящее себя в категориях бесконечности и вечности своего существования?

История России предоставляет нам немало возможностей поразмышлять над этими и аналогичными вопросами. Однако, как мне кажется, в любом случае едва ли возможно отрицать то, что пространство может быть открыто не только для явления бога (Хайдеггер), но и для амбиций власти, для безграничного насилия, террора, который также может не иметь преград.

Впрочем, Хайдеггер пишет:

*«Простор, продуманный до его собственного существа, есть высвобождение мест, где судьбы поселяющегося тут человека повертываются или к целительности родины, или к гибельной безродности, или уже к равнодушию перед лицом обеих»<sup>4</sup>.*

Будем исходить из того, что существует пространство физическое (географическое, космическое и т.п.), пространство — используем термин Хайдеггера — повседневного общения (возможно, имеет смысл говорить о пространстве гражданского общества) и в то же время пространство принуждения, несвободы, *пространство власти*.

Иными словами, под *пространством власти* я понимаю географическое и социальное пространство, организованное, структурированное, стратифицированное определенной исторически сложившейся совокупностью властных технологий.

Подобное разграничение, предполагающее, в частности, различие *территории* и *пространства*, или, другими словами, физически-технической (используем термин Хайдеггера) данности и пространства как сферы разного рода “социальных” взаимоотношений и положено в основу анализа российского *пространства власти* как специфическо-

го типа “социального” пространства, создающего и воспроизводящего многочисленные ряды географических, “социальных”, идеографических и иных образов власти.

Кроме того, необходимо дифференцировать *географическое пространство* (то есть прежде всего территорию со всеми присущими ей физико-географическими атрибутами), *пространство власти* (определенным образом стратифицированное реальное географическое пространство) и *технологическую структуру* (систему отношений власти и прежде всего властных технологий, стратифицирующую географическое и “социальное” пространство). (О технологиях власти более подробно будет сказано в следующем разделе книги.)

Еще раз отмечу: когда в книге речь идет о пространстве, имеется в виду не *территория* как некая чисто географическая реальность и даже не совокупность разного рода физических поверхностей Земли, а именно *пространство* как синтетическое философское понятие; в этом смысле пространство власти охватывает, поглощает и территорию в общеупотребительном смысле слова (т.е. *поверхность суши*), и мировой океан, и то, что “*простирается*” под землей (метро, шахты, подземные заводы, уходя дальше в толщу истории, — “глубины сибирских руд”, поглотившие декабристов и т.д.). Скажем, московское метро с самого начала было не только видом общественного транспорта, но и символом могущества определенного типа власти, как и система противоатомных туннелей, которая строилась на Кубе в 90-е годы и была предназначена не для выполнения своего функционального назначения (едва ли Кастро в те годы ожидал ядерного удара со стороны США), а для консолидации власти, воспроизведения в разных формах техноструктур, позволяющих контролировать население страны.

Равным образом пространством власти является пространство *над-*земное; существует масса примеров того, как власть пыталась сделать и делала “небо” своей территорией, от трагически закончившегося запуска стратостата в дни XVII съезда партии до разработки межконтинентальных бал-



листических ракет, покорения космоса и драматического эпизода с южнокорейским самолетом, оказавшимся 1 сентября 1983 года в воздушном пространстве СССР.

Разумеется, и мировой океан структурируется как пространство власти. Причем с появлением подводных лодок и особенно атомных подводных лодок пространством власти становится и скрытая от нас часть мирового океана. Вспоминая известный всем с детства роман Жюль Верна “20 тысяч лье под водой”, капитана Немо и его “Наутилус”, можно сказать, что эта вещь написана о бегстве из пространства власти в стихию, к моменту написания романа еще не стратифицированную при помощи технологий власти (эта мысль достаточно определенно высказана главным героем), а также о том, что власть подчиняет себе и контролирует все жизненное пространство людей, и выход из-под действия технологий власти означает одновременно выход за рамки этого традиционного жизненного пространства, прежде всего *пространства-территории* в какое-то иное измерение, где человек существовать не может — и поэтому капитан Немо обречен.

Иными словами, с того момента, когда подводное пространство становится средой, где человек в состоянии подолгу находиться и выживать, оно ставится под контроль технологий власти; и наоборот — подводное пространство становится сферой, где человек может существовать и выживать, только тогда, когда оно, это пространство, становится объектом экспансии власти и присущих ей технологий. Реально это происходит с началом первой мировой войны; процесс обретает новое качество в годы “холодной войны” в связи с соперничеством ядерных держав: с точки зрения скрытности и мобильности подлодка как носитель ядерного оружия не имеет себе равных. И только это жесткое соперничество приводит к тому, что экипажи подлодок находятся под водой в течении нескольких месяцев.

Все эти сегменты пространства власти входят в него как бы на равных основаниях, поскольку пронизаны однопипными технологиями властвования.

Власть стремится подчинить себе, стратифицировать все природные и географические среды и стихии, еще не подчиненные ей; она стремится полностью контролировать все жизненное пространство людей. Приращение пространства власти за счет нетрадиционных (для обитания человека) регионов земного шара (скажем, Антарктиды) и сред обитания (мировой океан, воздушное и космическое пространство, подземные сооружения) не только имеет прямые и очевидные цели экспансии власти именно в этих сферах и средах (вроде размещения в космосе и мировом океане новых видов оружия) или связано с амбициями власти, символическими структурами, но и создает условия для формирования новых и совершенствования старых идеологий и технологий власти в пределах географического пространства.

Однако власть способна не только структурировать и переструктурировать пространство, превращать девственную территорию в пространство власти, но и обращать это последнее в *мертвое пространство*. Мертвое пространство — это то, что осталось после катастроф в Карачае (завод “Маяк”) и Чернобыле, то, что ушло под воду после сооружения мощных ГЭС на равнинных реках России. Еще более типичная картина — омертвление географического пространства, *сопротивляющегося* насилию власти.

Власть получает пространство нетронутым (как писал Чехов о сибирской тайге: “все это принадлежит только Богу”), присваивает его, стратифицирует и оставляет — мертвым.

Широко известно, что во время вьетнамской войны авиация США расплывляла над территорией страны ядохимикаты, дефолианты, диоксины и т.д., чтобы подорвать продовольственные ресурсы скрывавшихся в сельской местности партизан и, уничтожив листву, сделать джунгли прозрачными. Это программа осуществлялась около десяти лет и привела к тяжким генетическим нарушениям и болезням детей в пораженных районах, проявляющимся и спустя два десятилетия после окончания войны.

Иракский диктатор Саддам Хусейн, пытаясь сломить сопротивление так называемых миаданов, “болотных арабов”, населявших заболоченные равнины южной части современного Ирака и по многим направлениям противостоящим политике Багдада, блокировал район их проживания плотным армейским кольцом и приступил к сооружению четырех магистральных каналов и нескольких десятков дамб для осушения тростниковых зарослей. Это помимо всего прочего должно обеспечить доступ иракским танкам к укреплениям мятежников. Параллельно ядохимикатами уничтожается флора и фауна болот. Все это повлекло за собой трагические для населения изменения экологической ситуации в регионе, острые проблемы с питьевой водой, голод, стремительный рост эпидемий и т.п.

Власть не ставит под сомнение собственное право на превращение пространства, населенного живыми людьми и являющегося между прочим материальной основой бытия самой власти, в мертвое пространство. В этом смысле власть демонстративно безответственна, ибо она не несет ответственности не только перед *теми-кто-под-властью*, но и перед своими собственными основаниями. Подобная безответственность власти была ненаказуема и распространялась и на уничтожение людей (геноцид, депортации и т.п.), и на уничтожение природной среды. В известном смысле движение власти в пространстве — это превращение *территории* в *мертвое пространство*, — во всяком случае, это верно для *тоталитарной* власти<sup>5</sup>.

### *Измерения пространства: гео-графия и социография*

Пространства власти формируются как на основе естественных, природных структур, так и на основе структур искусственного происхождения, не существующих помимо человека, созданных им.

Естественное географическое пространство, стратифицированное властью, — это один тип пространства. Не-при-

родное, “искусственное”, “социальное” пространство, стратифицированное властью и превращенное в пространство власти, — это иной тип. Если макропространство власти создается преобразованием, стратификацией географического, естественного, природного пространства, то микрокосмы власти создаются посредством стратификации пространств социальной жизни.

*Космос, макрокосм* власти — это глобальное географическое пространство, стратифицированное властью, “схваченное”, скрепленное определенной системой однородных, имеющих общий генезис технологий. На основе подобной макрокосмической техноструктуры вырастает соответствующая система политических и социальных институтов, наиболее глобальным из которых является государство. В известном смысле это институциональная система может рассматриваться как своеобразная надстройка над системой технологий власти, необходимая для того, чтобы контролировать ее действие. Мы замечаем действие власти прежде всего на этом, институциональном уровне потому, что привыкли считать: власть — это власть *политическая*, хотя политическая власть — это в лучшем случае один из ликов, одна из масок Власти.

Власть, кстати, вполне отчетливо ощущает, где заканчивается пространство природное и начинается пространство социальное. Скажем, в России переименовывали города, но не переименовывали реки. Почему? Можно предположить, что таким образом проявилось некое инстинктивное уважение нерукотворному, созданному самой природой... Иными словами, если географическое пространство порой рассматривается властью как нечто достойное уважения, как своего рода достойный соперник, то социальное пространство априори воспринимается как собственность.

Анализ технологической структуры, пронизывающей реальное физическое пространство, территорию, то есть техноструктуры, модификации которой связаны с особенностями ландшафта, спецификой наличных природных

ресурсов (на Руси, например, издревле было много леса и не было камня) и т. п., позволяет обнаружить и описать *гео-графические* образы власти (дефис в данном случае указывает на то, что слово употребляется в существенно ином значении, нежели традиционные понятия: *география, географический*).

Но власть овладевает также определенного рода “базисными” структурами, *микрокосмами* власти. Каждый из подобного рода микрокосмов находится на пересечении многих властных технологий.

Описание технологической структуры микросоциума, социального микропространства, этой мельчайшей клеточки глобальной технотруктуры; или же описание технологически организованного локального, фрагментарного пространства (я буду называть его *локусом*), которое по своим размерам и протяженности может быть соотнесено со сферой жизнедеятельности отдельного человека, охватывающего всю совокупность микрокосмов, в которые этот отдельный человек включен, “встроен”; или описание технотруктуры глобального пространства, взятого вне и независимо от его физических характеристик, я буду связывать с понятием *социография*.

*Микрокосм* — это структура, в которой локализована какая-то часть жизни человека; сфера жизнедеятельности одного отдельно взятого человека целиком, *локус* — это, как правило, несколько микрокосмов, локализованных в одном месте, в одной точке пространства. *Макрокосм* — это то, что простирается за горизонт естественного чувственного восприятия индивидуального человека.

*Микрокосм* — это часть пространства власти, где может быть управляем и контролируем отдельный, поименованный индивид. Только в микрокосме возможен контроль отдельного *конкретного* человека. Классный надзиратель замечает, что именно гимназист Александр Блок, а не кто-то другой, прогуливался с тросточкой по близлежащему бульвару, надев ранец не за спину, а на одно плечо. Все прочие фланирующие обыватели этого агента контроля не ин-

тересуют, даже если извозчик или купец будут призывать к низложению государя императора.

Локус — это пространство, где контролируются группы людей и отдельные лица, но уже не как конкретные, поименованные индивиды, известные контролеру и являющиеся предметом его избирательного внимания, а как *вообще-индивиды*, и представляют интерес они прежде всего в связи с их ситуативным отношением к данному сектору пространства власти.

Контроль локального пространства предполагает контроль *любого* индивида, находящегося в пределах или проходящего через это пространство. “Уши власти” улавливают разговоры, невзирая на то, *кто* говорит. Важно *что, о чем и где*.

В практическом или, если хотите, в конкретно-историческом измерении эти пространства как бы сливаются, слипаются, но аналитически они вполне различимы.

Наконец, еще одно, заключительное, замечание. Полагая продуктивными презумпции некоторых столпов современного структурализма, в частности мысль о том, что для постижения определенного рода реальностей целесообразно *отвлечься* от субъекта — этого “несносного баловня” (Леви-Строс), который слишком долго требовал к себе исключительного внимания<sup>6</sup>, автор все-таки предпочел бы идти не по пути “отречения от философии”, то есть использования структуралистских методов анализа для конкретно-научных исследований или же рассмотрения структуры и структурных закономерностей как внесодержательных знаковых и классификационных систем.

Технологические структуры интересуют меня не как некие внесодержательные общие формы, а как реальность, выявление которой, превращение которой из реальности скрытой в реальность де-маскированную позволяет нам продвинуться в понимании исторического процесса в России, и именно содержания, наполнения этого процесса. Хотелось бы, во всяком случае на более поздних стадиях исследова-

ния, подойти к решению иной задачи, а именно, выявив технологическую структуру как определенного рода реальность, интегрировать ее в контекст российской социально-философской традиции.

С известным допущением можно сказать, что использование структуралистских “строительных лесов” открывает для нас не просто возможности плодотворного конкретного научного исследования, а *философского* исследования, которое совсем не намерено радикально дистанцироваться от традиций русской социальной философии. Насколько эта традиция — традиция весьма субъективной и чаще всего историсофской интерпретации истории — оказывается совместимой с идентификацией “бессознательных” технологических механизмов — это уже другой вопрос.

## 2. Власть как технология власти

### “Бессознательное власти”

Для того, чтобы расшифровать ключевое для данного исследования понятие *пространство власти*, следует не только объяснить, что подразумевается под *пространством*, но более детально остановиться на том, как понимается *власть*.

Основной особенностью той исследовательской парадигмы, в рамках которой анализируется власть в данной книге, является использование понятия *технологии власти* как ключевого и выделение сферы его оперативного применения к историческому материалу.

В.А.Подорога понимает под технологиями власти определенные промежуточные, но непереходные структурные образования, “действующие” в границах институциональных систем власти. Он видит в технологиях власти не просто набор нейтральных технических орудий, которые волен как угодно использовать отдельный политик, группа или институт; эти технологии существуют независимо от господствующего режима политически оформленных властных отношений. В каком-то смысле, замечает Подорога, техно-

логии власти — это *бессознательное власти*. И в этом смысле они обладают особыми качественными признаками, которые не могут быть продублированы в сознании политических субъектов<sup>7</sup>.

В соответствии с этим подходом, говоря о власти, здесь и далее я буду иметь в виду прежде всего систему реально существующих технологий власти, по отношению к которой и система субъект-объектных отношений, и “модус обладания” являются как бы “вторичными”.

М.Фуко был, очевидно, совершенно прав, когда подчеркивал своего рода “надстроечный” характер государства в отношении технологий власти. Государство, по утверждению французского философа, при всем универсальном значении его аппаратов, не в состоянии заполнить всю область актуальных отношений власти; более того, оно может действовать только *на основании* других, уже существующих отношений власти.

*«Государство надстроечно по отношению к целой серии властных отношений, — пишет Фуко, — которые инвестируют тело, сексуальность, семью, родство, познание, технологии и т.д. Верно, что последние находятся в обусловленно-обусловливающем отношении к виду метавласти, которая структурируется вокруг определенного числа великих функций запрета: но эта метавласть с ее запретами может удерживаться и чувствовать себя в безопасности там, где она укореняется в целой серии множественных и неопределенных отношений власти, которые дополняют необходимым образом базис великих негативных форм власти»<sup>8</sup>.*

В определенном смысле, на определенном этапе развития человеческого общества технологии власти — это способ самоорганизации человеческого общества, средство выживания социума в условиях угрожающей человеческому сообществу внешних опасностей, начиная с враждебной окружающей среды и вплоть до угрозы со стороны других человеческих сообществ.

Механизм подобной самоорганизации весьма детально обрисовал еще Ф.Ницше, рассмотревший переход от



практики *мести* к практикам *наказания* в рамках определенного микрокосма власти — общины. Ницше показал историческое движение человеческого сообщества от мести — чисто реактивного, по его мнению, чувства — к доминации активных аффектов — властолюбия, агрессии, корыстолюбия: целое, социум, община не только не обрушивается на преступника, “злодея”, не только не изгоняет его, не объявляет вне закона, но, напротив, с усилением власти предусмотрительно берет его под свою защиту, ограждает от гнева окружающих, в особенности от возмездия непосредственно пострадавших лиц. Целое стремится установить компромисс главным образом с пострадавшими от злодеяния, локализовать инцидент, найти эквиваленты совершенному и считать каждый проступок в какой-то степени оплачиваемым; “все определеннее выступающая воля”, власть стремится до известной меры изолировать друг от друга преступника и его деяние.

*«С возрастанием власти и самосознания общины, — резюмирует Ницше, — уголовное право всегда смягчается; всякое ослабление ее и более глубокая подверженность угрозам снова извлекают на свет суровейшие формы последнего»<sup>9</sup>.*

С переходом от архаики, варварства к цивилизации перед обществом (обществами) перестает стоять дилемма: сверхжесткая управляемость или выживание, “жизнь или смерть”, и технологии властвования перестают быть необходимым элементом самоорганизации общества, превращаясь в средство выживания, наращивания, расширения власти как таковой.

*«...Для всякого рода исторического исследования, — пишет Ницше, — не существует более важного положения, чем то, которое было достигнуто с такими усилиями, но и должно было на деле быть достигнуто, — что именно причина возникновения какой-либо вещи и ее конечная полезность, ее фактическое применение и включенность в систему целей того соево расходятся между собой; что нечто наличествующее, каким-то образом осуществившееся, все снова и снова истолковывается не-*

*кой превосходящей его силой сообразно новым намерениям, заново конфискуется, переустраивается и переналаживается для нового употребления; что всякое свершение в органическом мире есть возобладание и господствование и что, в свою очередь, всякое возобладание и господствование есть новая интерпретация, принорвление, при котором прежние “смысл” и “цель” с неизбежностью должны померкнуть либо вовсе исчезнуть»<sup>10</sup>.*

Как представляется, Ницше, осмысливая универсальный для всемирной истории переход от социально легитимированной мести к практикам *правового* наказания, в том числе и к казни, логически перешел от анатомирования технологий наказания к размышлениям о том, как переналаживается и переустраивается власть вообще, власть как таковая, власть как технологии власти, и сделал весьма обоснованное заключение об автономности этого процесса от правового и идеологического развития. В каком-то смысле сходным путем шел Фуко: от анализа частных практик проявления власти (психбольница, тюрьма) к построению достаточно глобальной и всеобъемлющей теории.

В архаических обществах эта самоорганизация заметна в наибольшей мере: возможности индивида, даже *человека-у-власти* влиять на технологии власти, провоцировать и стимулировать их изменение минимальны. С развитием общества, движением его к полисубъектности, вычленением личности из архаического общественного монолита, усилением социальной стратификации субъект — индивидуальный и коллективный — обретает возможности в известной мере воздействовать на технологии власти, использовать их в своих интересах, создавая впечатление того, что он, субъект, и есть власть. Однако он одновременно является мельчайшим атомом среды, воздействующей на эволюцию властных технологий, и всегда, что бы он ни делал, действует в ситуации, когда в обществе уже существует сложившаяся сумма или система технологий власти и он сам является элементом, компонентом этих технологий, “сгущением” на “карте” властных технологий, уплотнением на одном из их векторов.

“Очевидность” власти, воплощенной в политических институтах, создает опасную иллюзию легкости овладения властью. Этот соблазн легкости в свою очередь стимулирует различного рода политический радикализм. Эта кажущаяся легкость не является всецело результатом иллюзий или мистификации. Государство, как уже говорилось, представляет собой своего рода “надстройку” над сложной системой технологий власти, располагающихся на более низком, “базисном” уровне; оно — своего рода сгусток властных технологий, сконцентрированных в одной точке, и эту точку действительно легче “взять”, “захватить”, чем преобразовать всю систему властных технологий или хотя бы оказать некое формирующее, формообразующее влияние на процесс их эволюции.

Однако власть не существует вне и помимо технологий власти; более того, эти технологии и есть власть. Еще раз процитирую В.А.Подорогу: технологии власти есть механизм, приводящий в действие саму власть: власть не определяется целями, лежащими вне ее, за рамками стратегии ее самосохранения и распространения в пространстве и времени, и становится властью только благодаря использованию технологических средств, которые она сама вырабатывает.

### *Типы технологической организации*

Можно выделить два основных типа технологической организации. Первый в качестве основного инструмента поддержания технологического пространства рассматривает наказание (речь идет о наказании в широком смысле; в этом смысле наказание — это и казнь, и тюрьма, и угроза наказания, и страх наказания, и априорное чувство вины перед властью у тех-кто-под-властью и т.д.), и прежде всего непосредственное, обычно болевое, воздействие на тело подданного, причем важнейшее место здесь занимает телесная пытка, представляющая собой “казнь до казни, или, если быть еще точнее, медленную казнь”<sup>11</sup>.

Неограниченное право суверена распоряжаться жизнью и смертью подданных; техническая изошренность телесной пытки; презумпция виновности; необходимость признания подозреваемого и соответственно превращение его тела в “признающееся тело” — все это базисные черты данного типа технологической организации<sup>12</sup>.

В данной технологической системе индивидуальный и коллективный опыт наказания, непосредственный и опосредованный — *единственный* регулятор поведения *тех-кто-под-властью* (я сейчас абстрагируюсь от не-технологических детерминант поведения, например религиозных). Соответственно техноструктура, связанная с “культурой наказания”, контролирует не поведение, а его результат.

Само наказание в этой технологической структуре эволюционирует от ориентированного на прямое физическое воздействие на человеческое тело к ограничению механических манипуляций с этим телом (пытки, изоляция, перемещение и т.д.); эта эволюция прослеживается в движении практик наказания от казни как главного инструмента наказания к лишению свободы в различных формах (прежде всего, тюремному заключению).

Чрезвычайно важно (на это не всегда обращали внимание исследователи, занимавшиеся эволюцией форм наказания), что в такого типа техноструктуре наказание носит самодовлеющий характер: преступление не может остаться безнаказанным, ситуация, когда наказание не осуществлено по причине ненахождения преступника, в принципе невозможна; всегда кто-то несет ответственность перед властью: если не преступник, так его род, или община, или племя; а в случае, если личность преступника не идентифицирована, то первичные ячейки общества, контролирующие территорию, на которой совершено данное преступление. Скажем, на Руси существовала практика, согласно которой ответственность за “душегубство” (то есть убийство), совершенное в городе, возлагалось на общины посадских людей, а сельских станах и волостях — на крестьян. Крестьяне обя-

заны были доискаться “душегуба” и передать его властям, а если не доищутся, то уплатить штраф. Такая практика существовала в Киевской Руси (“дикая вира”)<sup>13</sup>; сохранилась она и в Руси Московской<sup>14</sup>. Во времена Грозного существовал порядок: если жители, проживающие на территории губной управы, при повальном *обыске* не умели или не хотели назвать, кто у них “лихие люди”, а потом “лихие люди” в округе отыскивались помимо них, то тогда “лучших людей” из местного населения били кнутом, а иногда подвергали смертной казни<sup>15</sup>.

Другой тип технологической организации связан в большей мере с практиками опосредованного воздействия на фигуру подданного, и не столько с наказанием или с угрозой наказания, сколько с превентивным ограничением деятельности индивида, ее постоянным контролем и регуляцией, в известной мере замещающими страх наказания и прочие негативные санкции.

Вероятно, эта дисциплинарная система имеет и другое измерение. Так Т.А.Клименкова, интерпретируя идеи М.Фуко, высказывает мнение, что одним из кульминационных пунктов его философской рефлексии была фиксация своеобразного феномена “переноса” технологий, выработанных для воздействия на человеческое тело, на то, что условно называется “душой” человека. В частности, Т.А.Клименкова отмечает мысль Фуко о том, что на определенном этапе возникновения нового правового уклада не тело и связанная с наказанием боль, а душа, сознание становится основным объектом манипуляций правовой системы, и решающим фактором оказывается уже не сама боль, а только представление, воспоминание о ней, ее след в сознании. И хотя тело остается неизменным предметом воздействия, те методы, которые ранее применялись для подчинения ей, власти, человеческого тела, дублируются, и та модель воздействия, которая уже была применена к телу, те методы, которые ранее продуцировались для тела и вокруг тела, проектируются на “душу” человека<sup>16</sup>.

Общая тенденция развития технологий власти — наложение дисциплинарных технологий на исторически более раннюю “техноструктуру наказания” и постепенное сокращение сферы действия последней. Однако дисциплинарные технологии, по признанию, например, Фуко, интенсивно развиваются в Западной Европе лишь примерно с XVIII века. И формы проявления этой тенденции, скорость протекания процесса, частота рецидивов и провалов в технологическую архаику зависит от множества причин и происходит в реальном, часто непредсказуемом историческом поле. Я уже не говорю о том, что до XVIII века и в Европе, и в России происходил отнюдь не простой процесс развития и преобразования техноструктуры.

Поэтому, отметив глобальный вектор развития технологий власти, характерный для европейской цивилизации в Новое время, мы должны вместе с тем попытаться ответить на вопросы: таково ли направление этого вектора в России? И как российское пространство, обладающее собственными сущностными характеристиками, воздействует на формирование техноструктуры? И проявляются ли общие тенденции развития технологий властвования в российском пространстве власти линейно, или же этому процессу свойственна какая-то цикличность?

Трудно отрицать, например, что после 1917 года в России произошло возрождение архаических технологий властвования на новом витке исторического развития (возрождение практик локализации и внеэкономического принуждения к труду, формы коллективной ответственности типа заложничества, ответственность родственников, практика принудительного исключения, давно вытесненная во всех сколько-нибудь развитых странах, и т.д.). Более того, архаические технологии власти становятся тотальными, то есть действуют на всех уровнях социальности.

Но если развитие технологий власти подвержено цикличности, если на каком-то витке “правильной” технологической эволюции происходит обвал и соскальзывание в технологическую архаику или предпринимаются резкие попытки форсиро-

вать создание некоей технологической утопии, то с какими факторами и обстоятельствами это связано?

Все это вопросы, на которые трудно ответить, оставаясь в рамках глобальных философских абстракций и исторической мифологии, то есть не обращаясь к весьма конкретным историческим реалиям.

### **3. Организация пространства**

#### *Эпидемия чумы. Контроль локального пространства*

В качестве примера действия дисциплинарных технологий Фуко ссылается на существовавшее в конце XVII века положение о мерах, принимаемых в случае эпидемии чумы (разбирается документ из военного архива города Венсена). Первое, что выделяет Фуко, это строгий пространственный контроль: закрытие города и “окрестностей” и запрет выходить из города под страхом смерти. Город разбивается на сектора (кварталы), в каждом из которых устанавливается власть интенданта. Каждая улица находится под властью синдика, который наблюдает за ней и не может покинуть ее под страхом смерти. В определенный день всем жителям приказывают запереться в домах и ни в коем случае не выходить наружу. Синдик собственноручно запирает снаружи дверь каждого дома и передает все ключи интенданту квартала, который сохраняет их до окончания карантина. Если непременно надо выйти из дома, то делают это по очереди, причем избегают встреч. По улицам ходят только интенданты, синдик и стражники. Причем представители городских властей осуществляют непрерывное и самое детальное инспектирование того, как выполняются эти правила.

М.Фуко достаточно кратко и энергично определяет суть контролируемого таким образом пространства, становящегося пространством власти в чистом виде и утрачивающего все свои характеристики, смягчающие или затемняющие эту его сущность как пространства власти:

*«Разбитое на квадраты, недвижимое и застывшее пространство. Каждый закреплен на своем месте. А сдвинется — рискует жизнью, заражением или наказанием»<sup>17</sup>.*

Отличие современных дисциплинарных технологий власти и форм пространственного контроля от архаических заключается в том, что при наличии достаточно сложной и изощренной системы технологий эта власть способна решить свои задачи *без* чумы и представителей власти, на виду у всех разгуливающих по середине улицы.

Речь, таким образом, идет о технологическом контроле *пространства*, впрочем, достаточно локального, пространства, в котором существуют микрокосмы власти (частные дома, общественные здания, рынки и т.д.). Однако определяющим для идентификации этой модели технологического контроля и различения ее от паноптической является наличие пространственного (причем физически пространственного, чаще всего локально-территориального) компонента.

Тем не менее, пытаясь определить сферу употребления понятия “технологии власти” (у Фуко это часто звучит как “техники власти”, но это вопрос даже не столько перевода, сколько выбора адекватной терминологической системы), отношения его к пространству власти я счел возможным в какой-то мере абстрагироваться от генезиса дисциплинарной технологической системы, достаточно подробно описанного французским исследователем.

### *Паноптикон: конструктивный образ дисциплинарной власти*

Когда-то, стремясь прояснить свое понимание дисциплинарной власти, Мишель Фуко рассмотрел не только функционирование реальной модели власти (“чума”), но и некую идеальную модель, так называемый ПАНОПТИКОН Бентама — архитектурную конструкцию, демонстрирующую всепроникающий характер надзирающей и дисциплинирующей власти.

Принцип организации пространства паноптикона (мне всегда хочется написать: пан-оптикон, возвращаясь от сло-



ва к его составляющим и проясняя тем самым генеалогию термина) не сложен: кольцеобразное здание; в центре внутреннего пространства, внутреннего “двора” этого здания — вышка, увенчанная кабинкой, напоминающей кабину крановщика подъемного крана. Кольцевое здание разделено на камеры, каждая из которых представляет собой отдельную секцию, одной стороной (стеной) выходящую на внешнюю поверхность кольца, другой — на внутреннюю, то есть в упомянутый нами “двор”. Иными словами, пространство камеры-секции занимает всю толщину кольцеобразного здания.

Соответственно в камере две прозрачных перегородки (окна): одна выходит внутрь (и оказывается в поле зрения наблюдателя, находящегося в башне), а другая — наружу; последняя пропускает свет сквозь толщу здания и обрисовывает силуэт находящегося в ней заключенного таким образом, что наблюдатель-надзиратель видит его предельно четко.

*«Достаточно поместить в башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику. Благодаря эффекту расположения против света из башни можно видеть четко вырисовывающиеся на свету малюсенькие фигуры — пленниц камер периферийного здания. Сколько камер — столько клеток, театриков одного актера, причем каждый актер — абсолютно индивидуализированный и постоянно видимый. Паноптическое устройство — это пространственные единицы, позволяющие непрерывно видеть и немедленно распознавать. Короче говоря, принцип, обратный принципу застенка. Точнее, из трех функций карцера (заточать, лишать света и скрывать) сохраняется лишь первая, а две другие устраняются. Полный свет и взгляд надзирателя улавливают куда лучше, чем тьма (в конечном счете защищавшая). Видимость есть ловушка»<sup>18</sup>.*

Приводить подобную машину в действие может любой практически случайно выбранный индивид. Поэтому, подчеркивает Фуко,

*«подобное устройство очень важно: ведь оно автоматизирует власть и лишает ее индивидуальности»<sup>19</sup>.*

Можно было бы сказать, что паноптикон — это конструкция, где *взгляд власти метафорический совпадает со взглядом власти реальным*.

Но рассматриваемая нами технологическая конструкция имеет и еще одну особенность: неважно, кто, находясь в башне, надзирает; но не имеет значения и то, кто сидит в камерах, кто разрезает собой поток света, оставляя видимый невидимой властью силуэт. В роли заключенного, как и в роли надзирателя, может оказаться любой, и действие дисциплинарной машины от этого не изменится. Видимые и наблюдаемые фигуры — безличны, и *люди-в-башне* видят множество дублирующих друг друга контуров, силуэтов, утративших не только объем, но и признаки индивидуального лица, того, что, по Эйзенштейну, заключено в правой его половине. Множество надзирателей (мультиплицированный *глаз циклопа*) видят множество однородных изображений, которые, существуя на одной плоскости, образуют картину, видимую как бы *глазом мухи* — множество одинаковых изображений на одной светочувствительной поверхности...

Фуко видит в этом проекте Бентама своего рода идеальную модель (в веберовском понимании этого понятия) организации дисциплинарного, технологического пространства власти.

*«Паноптическое устройство предлагает формулу повсеместного присутствия власти. Оно программирует (на уровне элементарного и легко передаваемого механизма) базовое действие общества, целиком пронизанного и пересеченного дисциплинарными механизмами»<sup>20</sup>.*

Система контроля, воплощенная в проекте паноптикона, может показаться чрезвычайно жесткой; однако, оценивая ее с точки зрения жесткости, следует иметь в виду, что подобная дисциплинарная система приходила на смену технологиям, связанным с непосредственным физическим воздействием на человеческое тело, когда основными формами наказания были различные виды смертной казни (при-

чем часто предполагавшие казнь мучительную), пыток и телесных наказаний.

Фуко рассматривает паноптикон как идеальную конструкцию, в которой нашло отражение новое понимание дисциплины, которое стало следствием своеобразного *слияния* ритуала исключения или отделения, наиболее ярким воплощением которого стала изоляция больных проказой, и дисциплинарной власти, реализуемой в период эпидемий чумы.

*«Особенность XIX века в том, что он применил к пространству исключения (его символическим обитателем является прокаженный, а нищие, бродяги, умалишенные, насильники образовывали реальное население) технику власти, присущую дисциплинарному оцеплению. Обращаться с “прокаженными” как с “чумными”, переносить детальную разбивку дисциплины на расплывчатое пространство заключения и обрабатывать его методами аналитического распределения власти; индивидуализировать исключенных, но при этом пользоваться процедурами индивидуализации для “клеяния” исключений — вот что постоянно осуществлялось дисциплинарной властью с начала XIX века»<sup>21</sup>.*

Для Фуко паноптикон — это архитектурный образ дисциплинарной власти, утвердившей себя в полной мере с начала XIX века.

Если придерживаться понимания технологий власти как своего рода бессознательного власти, то, как мне кажется, следует признать, что конструкции типа паноптикона представляют собой прежде всего не изобретение некоего субъекта, использованное (или не использованное) другими субъектами (в частности, субъектами власти), а материализацию возникшей в обществе потребности в дисциплине нового (хотя и не радикально нового, не уходящего от старого по *всем* параметрам) типа. Дисциплинарные технологии, характерные для новой эпохи, уже существуют в обществе — Бентам лишь концентрирует их в рамках одной, чрезвычайно впечатляющей модели.

Кстати, М.Фуко вполне определенно пишет о том, что тюрьма, при всех ощущавшихся обществом ее недостатках

как пенитенциарного института, стала основным институтом всех современных систем западного (буржуазного) общества потому, что именно тюрьма в наибольшей степени соответствовала тем механизмам *дисциплинирования* и *всеподнадзорности*, которые к этому времени уже подспудно сложились в европейском обществе. И лишь затем, задним числом, тюремное заключение было интерпретировано многими теоретиками, прежде всего, юристами и законодателями, как якобы наилучшая возможность исправления преступника<sup>22</sup>.

В дисциплинарной утопии Бентама технологии власти существуют не в том “свободном” виде, в каком они разбросаны, переплетены в обществе, — они как бы слиты с неким чисто техническим механизмом, целиком зависят от этого механизма.

Чем отличается система современных технологий власти от той техноструктуры, что заложена в идею паноптикона? Позволю привести пример несколько несерьезного свойства. Однажды Эдисона спросили, что такое телеграф. “Представьте себе длинную-преддлинную таксу — когда ее дергают за хвост в Ливерпуле, она лает в Лондоне”. — “А беспроводный телеграф?” — “То же самое, только без таксы”. Современная система технологий власти — это “то же самое”, действующая модель паноптикона, увеличенная до масштабов общества, только *без* паноптикона, без стен, без камер, без мачты и без кабинки наблюдателя. В XX веке для выполнения функций надзора и контроля власти уже не нужна специальная статическая конструкция, особого рода механизм.

Поэтому сегодня паноптикон — это идеальная *модель* власти, практически, более или менее буквально, используемая лишь при создании тюремных сооружений.

Общие принципы, заложенные в паноптиконе как технической конструкции, реально были реализованы при организации концлагерей в СССР или Германии. Но если подойти к вопросу буквально, то принципы паноптического кругового контроля наиболее полно были воплощены в

акте использования спортивного стадиона для осуществления функции заключения и контроля над заключенными (наиболее известные примеры — Греция времен “черных полковников” и Чили 1973 года, но, насколько известно, аналогичные случаи были и в других странах). Действительно, налицо круговая конструкция — и абсолютная невозможность скрыться от наблюдения ни на одно мгновение...

И все же в XX веке власть, как правило, в состоянии обойтись без специальной технологической конструкции, самим своим устройством идеально дублирующей невидимые импульсы власти. В то же время следует иметь в виду, что многие архитектурные сооружения, не будучи материальным воплощением тех или иных дисциплинарных утопий, могут быть тем не менее рассматриваемы как “мягкие варианты” паноптикона, как конструкции, занимающие промежуточное, срединное место между проектом Бентама и неким абстрактным пространством свободного существования индивида, где он не подвержен воздействию властных технологий. Скажем, в студенческом общежитии, занимающем чаще всего то, что называют *жилым домом гостиничного типа* (это значит, что в комнатах или “блоках” (квартирах) нет индивидуальных кухонь, а вместо ванны — душ), комнаты расположены не по окружности, а по обе стороны прямого коридора и их внутреннее пространство не открыто взгляду наблюдателя, поскольку входной проем закрыт дверью; но тем не менее эти двери, глухие для стороннего наблюдателя и непроницаемые как физическая реальность, прозрачны и проницаемы для власти и ее агентов; право власти вторгаться в жизненное пространство индивида (в нашем случае — студента, аспиранта и т.п.) делает студенческие комнаты аналогом камер бентамова паноптикона.

В реальности власть выполняет функции, которые составляют *raison d'être* простой и вместе с тем изошренной конструкции паноптикона — заточать, не лишая света и не скрывая, как и многие *иные* функции, скажем, функции ло-

кализации (нечто иное, чем заточение), иерархизации, унификации, — *вне* видимых технических конструкций типа “кольцевое здание — вышка”. Эффективность действия власти достигается за счет дробления глобальной технологической машины (машины в мэμφордовском понимании слова) на сотни специализированных машин, дополняющих, поддерживающих, дублирующих друг друга и координирующих действие самых различных технологий. Лишь сумма, совокупность этих машин власти и вся система задействованных ими технологий способны осуществлять функцию пространственного контроля и поддерживать непрерывность воздействия власти, суть которого определил Фуко: **надзирать и наказывать.**

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: *Подорога В.А.* Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX—XX вв. М., 1993. С. 146.

<sup>2</sup> *Хайдеггер М.* Искусство и пространство // *Хайдеггер М.* Время и бытие. М., 1993. С. 313.

<sup>3</sup> Там же. С. 314.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> В этом контексте чрезвычайно продуктивной представляется интерпретация (пост)тоталитарной власти как *патологии природы* в работах В.А.Подороги. См., например: *Подорога В.А.* Бессознательное власти // Бюрократия и общество. М., 1991. С. 61-67.

<sup>6</sup> Подробнее о взглядах Леви-Строса см.: *Грецкий М.Н.* Структурализм К.Леви-Строса и проблема гуманизма // Французская философия сегодня. М., 1989.

<sup>7</sup> См.: *Подорога В.А.* Бессознательное власти. С. 56; *Подорога В.А.* Феномен власти: Беседа с С.А.Королевым // Филос. науки. № 1—3. С. 47.

<sup>8</sup> *Foucault M.* Power-knowledge. Brighton, 1980. P. 253. Цит. по: *Подорога - В.А.* Власть и познание (археологический поиск М.Фуко) // Власть. Очерки современной политической философии Запада. М., 1989. С. 253.

<sup>9</sup> *Ницше Ф.* К генеалогии морали // *Ницше Ф.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 451.

<sup>10</sup> Там же. С. 455.

<sup>11</sup> *Подорога В.А.* Власть и познание. С. 238.

<sup>12</sup> Подробнее см.: Там же. С. 236-239.

<sup>13</sup> См., например: *Тихомиров М.Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси. XI—XIII вв. М., 1955. С. 242.

- <sup>14</sup> См.: *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., 1960. С. 286-287.
- <sup>15</sup> *Покровский М.Н.* Избр. произведения: В 4 кн. Кн. 1. М., 1966. С. 316.
- <sup>16</sup> Подробнее см.: *Клименкова Т.А.* От феномена к структуре. М., 1991. С. 39.
- <sup>17</sup> *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Фрагменты из книги // Искусство кино. 1994. № 11. С. 51.
- <sup>18</sup> Там же. С. 53—54.
- <sup>19</sup> Там же. С. 54.
- <sup>20</sup> Там же. С. 55.
- <sup>21</sup> Там же. С. 53.
- <sup>22</sup> *Фуко М.* Надзирать и наказывать. М., 1996. Данный тезис Фуко подробно интерпретируется в работе: *Автономова Н.С.* От “археологии знания” к “генеалогии власти” // *Вопр. философии.* 1978. № 2. С. 147-149.

## ГЛАВА II

# ПРОСТРАНСТВО ВЛАСТИ В РОССИИ/СССР/ РОССИИ

### 1. Колонизация как способ стратификации пространства

#### *Своеобразие российской колонизации*

Знаменитый историк В.О.Ключевский утверждал, что колонизация есть “основной факт” русской истории: “история России есть история страны, которая колонизируется”<sup>1</sup>. Причем это была колонизация специфического типа: славянское население распространялось по русской равнине, не расселяясь, а переселяясь, “переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и сядя на новые”<sup>2</sup>.

Конечно, у Ключевского были многочисленные предшественники — вспомним хотя бы А.И.Герцена, считавшего, что “страна выросла колонизацией”<sup>3</sup>, были и те, кто развивал примерно те же идеи даже несколько ранее знаменитого историка (например, его коллега С.М.Соловьев) или параллельно с Ключевским, хотя и в иных исследовательских парадигмах (например, о том, что “Россия была колонизирующей страной”, писал Г.В.Плеханов). Но, пожалуй, именно Ключевский наиболее четко показал своеобразный двухвариантный характер этой колонизации.

Однако концепция Ключевского не проясняет в полной мере сути вопроса — в чем же заключалась специфика *русской* колонизации, какова была ее роль в организации пространства власти, в “форматировании” этого пространства? Ведь два названных им типа освоения географического пространства, два типа колонизации — колонизацию-расселение и колонизацию-переселение — мы, вероятно, мо-



жем встретить во многих государствах и в самые различные эпохи. Между тем, не поняв того, чем процессы колонизации в России отличались, например, от колонизации Северной Америки, какое воздействие оказали имевшие место различия на формирование пространства и технологий власти в двух этих великих странах, трудно всерьез рассуждать о природе и истоках власти, будь то, скажем, власть демократическая (предположительно США) или тоталитарная (предположительно СССР с 1917 года до начала 90-х годов).

Главная особенность российской колонизации заключается в том, что ее стимулятором, организатором, регулятором был “центр”, средоточие власти. И массовое перемещение населения из центральных губерний на просторы Сибири могло осуществляться лишь после того, как эти просторы были “завоеваны”, стратифицированы, поглощены властью. Именно по наущению или с ведома “центра” или поставленных им в главных сибирских городах воевод или поддерживаемых и стимулируемых властью промышленников снаряжались лихие землепроходческие экспедиции вроде походов Семена Дежнева, Ерофея Хабарова или Василия Пояркова. Все оставленные ими на географической карте отметины, все возведенные остроги и крепости, наконец вся *землица*, прихваченная у аборигенного населения в ходе отчаянных этих предприятий, не только объявлялись принадлежащими московскому государю, но и геополитически привязывались к одному из центров власти — не к Москве непосредственно, так к Якутску, где сидел царский воевода, то есть становились *микрокосмами*, а затем *локусами* власти, подобно дворянским поместьям и монастырям в Центральной России, уральским копиям и подземным заводам, где под землей жили, работали и умирали крепостные люди, подобно военным поселениям или сахалинской каторге...

Поэтому “разделение на губернии с отношением каждой губернии только к Петербургу, а не к соседним губерниям”<sup>4</sup> отнюдь не представляется столь искусственным, как это казалось В.В.Розанову, подобное положение ве-

шей если и является злом, то злом, предопределенным всей российской историей и прежде всего механизмом российской колонизации.

Но колонизация пространства, инициированная центром и стимулируемая им, означает помимо всего прочего, что стратифицируемая властью территория становится собственностью этого центра — государственной (государевой) собственностью. (В то время как стихийное колонизационное движение, например, в Америке создавало *частную* собственность на землю). Причем государственная собственность на землю постоянно воспроизводит ситуацию, когда собственник и работник не слиты в одном лице, а разделены, и ситуация эта не может существовать без определенного рода механизма локализации работника на чужой (*черной*, то есть государственной, или пожалованной государством (государем) тем или иным представителям служивого класса, или захваченной последними) земле. Локализация как бы фиксирует положение индивида в пространстве, его взаимоотношения с ним.

Однако инициируемая и регулируемая центром колонизация не есть некая внеисторическая константа русского пространства власти — она становится доминирующей формой колонизации на Руси лишь с формированием технологического (а затем и государственного) центра. В решающий для определения судеб русского народа и российской государственности период, когда на фоне монголо-татарского ига и зависимости русских земель от Орды происходили междоусобные феодальные войны между князьями, претендовавшими на преобладающее влияние на Северо-Востоке, когда разворачивался, но еще далеко не был закончен процесс закрепощения крестьянства, колонизационные процессы в северо-восточных русских землях происходили естественным, я бы сказал “горизонтальным” путем. Идет процесс своеобразного “разукрупнения” (термин Л.В.Черепнина) больших сел, на пустующих землях создаются, как правило, однодворные или двухдворные починки и дерев-

ни, своего рода хутора. Происходит также “обрастание отдельных сел все большим количеством деревень и починков по непрерывно увеличивающимся кругам, иногда смыкающимся и заходившим друг за друга...”<sup>5</sup>.

Закрепощение крестьянства резко сократило колониционный потенциал этой “горизонтальной” модели колонизации, сделало ее второстепенной. Нерегулируемое и никем не инициированное движение населения по бескрайним российским просторам (о котором С.М.Соловьев писал: “все расплывалось и разбродилось на необъятном пространстве...”<sup>6</sup>) становится невозможным. С середины XVII века подобного рода колонизация-расселение существует лишь как некий стихийный *фон* инициируемого и регулируемого центром процесса направляемой колонизации.

Кстати, все тот же С.М.Соловьев отмечает любопытную взаимосвязь между протяженностью территории, особенно степями естественного ландшафта и материалов, которые предоставляет этот ландшафт, и процессами перемещения населения в рамках этой территории. Северо-Восточная Русь представлялась ему в этом отношении почти полной противоположностью Западной Европе. У жителей великой восточной равнины, замечает он,

*«нет камня... нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться, в которых бы обжились целыми поколениями... Движимого так мало, что легко вынести с собою, построить новый дом ничего не стоит по дешевизне материала; отсюда с такой легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село; уходил от татарина, от литвы, уходил от тяжелой подати, от дурного воеводы или подьячего; брести розно было не по чем, ибо везде можно было найти одно и то же, везде Русью пахло. Отсюда привычка к расходке в народонаселении и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять»<sup>7</sup>.*

В то же время каменные дома европейцев локализовали население, привязывали его к земле, к месту *сами по себе*. Но это подразумевало помимо всего прочего и существова-

ние принципиально различных проблем, стоящих перед властью, и существенно иных механизмов самосохранения властного пространства. В то же время возможность ухода от *власти* на простор, на *волю* — нечто не-европейское, роднящее российскую и американскую колонизации (пуритане уходили от козней сатаны в облики английского короля — нечто подобное делали и старообрядцы). Поэтому понятной становится формула Соловьева:

*«Прикрепление крестьян — это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении»<sup>8</sup>.*

Однако не меньше оснований полагать, что прикрепление крестьян было воплем ярости *власти*, которая ощущала, как бесконечное географическое пространство размывает самые основы этой власти. И власть принимала меры, прикрепляла, усаживала, ограничивала, сдерживала, предотвращала... И то, что я выше назвал стихийным колонизационным фоном, вело одновременно к усилению главного, основного рисунка российской колонизации; перспектива *расплывания* народа по огромным равнинным пространствам побуждала власть, в целях хотя бы самосохранения и обеспечения условий собственного существования, прикреплять население к месту, *локализовать* его, или, в зависимости от обстоятельства, перемещать его, но уже по собственному произволу. И то и другое усиливало центростремительные структуры организации пространства власти.

Два типа колонизации, названные Ключевским, вовсе не предполагают примитивной колонизационной симметрии, некоей взаимной дополнительности. Ведь то, что Ключевский назвал колонизацией-расселением, имеет своим следствием освоение территории, превращение ее в обжитое пространство, пространство человеческой жизни, означает приращение геополитического ареала, контролируемого данным этносом и государством. Это означает, наконец, заполнение лакун, оставляемых властью в подчиняемом ею пространстве. В то же время колонизация-переселение оз-

начает непосредственное формирование пространства власти. Параллельное развитие двух типов колонизации неизбежно закладывает возможность конфликта между геополитическим и геотехнологическим пространствами.

Россия как пространство власти формировалась *присоединением*, то есть не волюнтаристским, а предельно авторитарным способом. В каком-то смысле Россия в этом отношении больше походит на империю Александра Македонского, чем на Америку, ибо США формировались путем *приема* (включения) земель (штатов), и в этом есть определенная аналогия с формированием того, что Вебер называл сектой, — здесь присутствует «волюнтаристский» принцип инкорпорирования части в целое.

Оформление северо-восточного ядра российского государства было детерминировано одновременно и монгольским игом, и в известной мере противостоянием ему, то есть геополитическими по своей сути факторами (геополитическими в самом *традиционном* понимании этого слова). Лишь кризис и распад Орды, а затем завоевание не идущих с ним ни в какое сравнение по военной мощи Астраханского и Казанского ханств сделали возможным колонизацию Востока. Но если бы Орды на восточных границах русских земель не существовало, то, не исключено, Русь *прирастал* бы не восточными *уездами* (впоследствии губерниями), а равновеликими Москве по статусу княжествами. И технологическая структура российского пространства была бы иной, более близкой, возможно, к американской модели.

В действительности же поток переселенцев на Восток и Юго-Восток, на *украины* империи, после завершения процесса закрепощения крестьянства и завоевания Казанского и Астраханского ханств в середине XVI века, двигался по уже прочерченным властью силовым векторам и с этого момента и по крайней мере до конца XIX века вел лишь к консервации сложившейся технологической структуры и совершенствованию технологий власти, стягивающих воедино те или иные ее (власти) ареалы, локусы и микрокосмы.

Колонизация в России была как бы двойной, матрешечной: переселенческие потоки, внешне аналогичные американским, скрывали скелет, основу колонизационного процесса: *очаговую колонизацию*, опирающуюся на созданные ею же локальные образования и микрокосмы власти. В какой-то степени эта двойственность так и осталась нераскрытой тайной российской власти, как имперской, так и постимперской, тоталитарной.

Поэтому весьма вероятно, что дихотомия “расселение (путем естественного прироста населения) — переселение”, которую пытался приложить к истории России, в частности, В.О.Ключевский, недостаточна для понимания сути российской колонизации: то имеющее общий вектор движение, которое можно было бы назвать переселением, осуществлялось посредством создания множества микрокосмов власти, так или иначе привязанных к “центру” и без него не жизнеспособных. (Валерий Подорога прекрасно показал действие аналогичной технологической структуры в условиях тоталитарного общества: все “великие стройки коммунизма” и, главное, архипелаг ГУЛАГ были результатом реализации этого типа колонизации и этого типа организации пространства власти.)

Закономерно, что в подобной структуре движение по вектору “от центра к периферии” или “с периферии к центру” осуществляется и легче, и быстрее, чем продвижение вдоль линий, не соотнесенных с центром, минуя центр, например по линии, соединяющей две точки, лежащие на периферии. Так О.Я.Бондаренко, автор довольно основательной, хотя и не лишенной определенной идеологической ангажированности работы о Курильских островах, отмечая сложность и нетипичность перемещений в пределах Курильской гряды, пишет, что курильчане

*«обождают путешествовать. Вполне естественное стремление высвободить энергию после отсидки взаперти. На соседние острова курильчане не суются, но перед ними — весь Советский Союз, пока не кончатся деньги и отпускное время и пока не*

*потянет на Курилы внутреннее “я”. Летают обычно самолетами. Из-за чего у людей формируется искаженное представление о пространстве: “Близко” обозначает в районе Москвы, а “очень близко” — около Сахалина»<sup>9</sup>.*

Итак, в российском пространстве власти прямая, соединяющая две точки, пересекает пространство, *организованное через-центр*, в виде звезды, и сколько-нибудь значимые точки в этом пространстве организуют окружающее их локальное пространство также в виде звезды, становясь, таким образом, второстепенными центрами в стянутом центростремительными силами пространстве власти.

Это пространство существенным образом отличается, скажем, от американского пространства, которое структурировано как своего рода *кристаллическая решетка*, и где, можно сказать без большого преувеличения, прямая связывает *все-равно-какую-точку* с такой же, равнозначной ей, *все-равно-какой-точкой*.

Последнее обстоятельство весьма существенно. И то, что, например, действие гоголевских “Мертвых душ” происходит *в или возле* губернского города, весьма симптоматично. Ибо российский губернский город — это нечто особенное, отсутствующее, в частности, в той же Америки. Ф.Ф.Вигель, крупный чиновник и достаточно известный литератор, автор известных “Записок”, писал:

*«В России есть города, кои следует назвать казенными, потому что в них встречаются по большей части одни должностные лица, помещики бывают в них только иногда по делам...»*

А.И.Герцен в своем достаточно жестком памфлете, написанном по поводу “Записок” Вигеля, цитируя этот пассаж, тем не менее также говорит о “странной физиономии городов, в которых, собственно, нет туземцев”<sup>10</sup>. Это города, которые “по большей части были выдуманы и существовали для администрации и чиновников-победителей”.

Однако эта структура, этот феномен не был порождением николаевской бюрократической системы. Ибо характер русского города как *центра власти* и существенные его отличия в

этом отношении от западноевропейских городов определились задолго до николаевской эпохи. Историк А.М.Сахаров (лекции которого мне довелось слушать во время пребывания в Московском университете) в свое время проанализировал летописные и акты сведения XIV—XV вв. о 74 населенных пунктах Северо-Восточной Руси и пришел к выводу, что из этого числа лишь 29 пунктов можно считать городами в социально-экономическом понимании этого термина (то есть торгово-ремесленными центрами); в основном же город был центром феодального господства, средоточием власти<sup>11</sup>.

Эта российская структура в зависимости от вектора колонизации и направления идущих от центра импульсов может быть развернута от центра на восток или выстроена вдоль линии “центр — север” или “центр — юг”. Американская же структура однородна — в ней не задано направление движения властного импульса.

В заштатных русских городках мы на каждом шагу слышим: Петербург, Петербург... Или: “В Москву! В Москву!” Присутствие столицы, Центра Вселенной, ощущается ежеминутно в любой точке пространства власти; это центр, выведенный за скобки бытия, но влияющий на него постоянно, как генератор.

Городок *Санкт-Питерсбург*, где живут Том Сойер и Гекльберри Финн, этот заштатный американский Урюпинск, не знает никаких центров — он сам центр мира, и кажется, большинство его жителей даже не подозревает, что где-то существует столица державы и тем более не догадывается о том, что возможно испытывать некий комплекс в связи со своей провинциальностью...

### *От океана до океана: пространство власти в России, Америке и Австралии*

Выше уже вскользь было сказано об определенных отличиях колонизационного процесса в России и в Америке. Попытаемся рассмотреть этот сюжет более подробно. Россия и Америка — две огромных страны, которые простира-



ются от океана до океана и которые, по мнению многих людей, наделенных способностью думать и сравнивать, имеют немало общего. В частности, Джордж Кеннан, бывший посол США в Москве, ставший после II мировой войны заметной фигурой в американской политологии, писал, что существует определенная общность в коллективном опыте двух стран, и для некоторых американцев намного легче понимать Советский Союз, чем континентальных европейцев и англичан... Причиной тому нечто, что сложно сразу определить: какое-то родство душ жителей крупных континентальных стран. На Кеннана, кстати, произвела особое впечатление общность в жизненном опыте между американцами и сибиряками, в основе которой лежало, по его убеждению, то обстоятельство, что Сибирь, так же как и США, — это общество, сформировавшееся под влиянием расширения границ на протяжении нескольких веков—.

Подобные рассуждения и правильны, и ограничены, потому что слишком глобальны, слишком общи, в них заметно стремление взглянуть на проблему со слишком большой высоты, откуда пространство видится как “вообще-пространство”, пространство, лишенное (для наблюдателя) какой-либо внутренней структуры.

Но если “колонизация есть основной факт российской истории” (как не без основания полагал Ключевский), то это же можно сказать и об американской истории, причем применительно к Америке этот приоритет колониационного процесса над всеми иными, его доминирование на протяжении первых веков американской истории весьма очевиден. В чем же тогда отличие колонизации российской от колонизации американской? Или, скажем, австралийской?

Казалось бы, колонизация Америки происходила почти так же, как в России: повозки первых переселенцев... форты — аналоги наших острогов и деревянных крепостей... оттеснение в глубь континента, в сторону от основных путей передвижения переселенческой массы, коренного населения, индейцев, спаивание их “огненной водой” и кара-

тельные экспедиции, наконец, ежечасная борьба переселенцев за выживание...

Но есть и весьма существенные отличия: если в России регулятором колонизации был “центр”, средоточие власти, то колонизация Америки была результатом стихийного движения свободных (хотя бы в том смысле, что они не были крепостными, то есть прикрепленными к земле, жестко и окончательно локализованными в пространстве) людей. В глубь Америки, на Запад, пробивались не отряды, снаряженные центральной властью, а группы поселенцев, участвующих в стихийном процессе освоения земель для себя, а не для власти. Наконец, что также очень важно, американское пространство покорялось *вооруженным* переселенцам — оружие было залогом независимости и суверенности индивида, а эта независимость и суверенность была необходимой предпосылкой будущего гражданского общества. В России же колонизация осуществлялась силами отрядов конквистадоров, “землепроходцев”, то есть людей, вооруженных властью в целях реализации амбиций этой власти.

Иными словами, то что в России было фоном, а Америке стало стержнем, сутью колонизационного процесса.

Как известно, в Америке “центра” не было. Отвоеванное у природы и индейского населения пространство так или иначе, рано или поздно становилось однородным, организованным “по горизонтали”; микрокосмы власти и локусы, неизбежно вкрапливавшиеся в это пространство в процессе колонизации, впоследствии поглощались, растворялись самим этим пространством или оставались микрокосмами, не выведенными на центр, не управляемыми из какого-то “центра”; в промежутках, в лакунах между микрокосмами власти развивалось гражданское общество...

Неудивительно, что близкое нам слово “*райцентр*” аналогов в английском языке не имеет.

Естественно, в силу этих причин в Америке не могло быть и гипертрофии центра, тем более столь типичного для России/СССР *культы* “центра” (скажем, трудно представить

себе *песни о Вашингтоне*). Соответственно не было Кремля. Не было бдящего в освещенном окне вождя. И даже Статуя Свободы мгновенно была американизирована, и символизировала отнюдь не то, что предполагали символизировать французские инициаторы ее сооружения: а именно то, что Америка является родиной второй великой революции, второй *после* Великой французской. Но в Америке не могло быть ничего “второго”, там могло быть только первое... Американская свобода не могла быть свободой второй свежести, она могла быть только самой свободной свободой в мире...

Характер колонизации предопределяется существующими технологиями власти — но в то же время и сама колонизация, присущие ей особенности, накладывают отпечаток на будущую техноструктуру. Американские переселенцы продвигались на Запад вооруженными, и вооруженные переселенцы стали основой будущего *гражданского* общества.

Наконец, для того, чтобы понять как складывается центростремительная или центробежная техноструктуры, обратимся к колонизации *Австралии*. Восточное побережье Австралии, ту зону, откуда разворачивалась британская колонизация континента и где впоследствии разместились административные учреждения британской империи, открыл Джеймс Кук в 1770 году. Кстати, вплоть до начала XIX века было неизвестно, является ли Австралия континентом или группой больших островов. Лишь в 1801—1803 годах английский капитан М.Флиндерс совершил плавание вокруг Австралии и доказал, что это — континент.

Первоначально новый континент использовался для “сбрасывания” каторжников из империи, что стало особенно актуальным после того, как американские колонии Великобритании добились независимости в 1776 году, и ссылка преступников в Вирджинию, Северную и Южную Каролину, практиковавшаяся до 1776 года, стала невозможной. Иными словами, Австралия была в какой-то степени аналогом сибирской и сахалинской каторги в России или французской Гвианы в Южной Америке или Новой Каледонии.

Учитывая процессы пауперизации, связанные с осуществлением промышленной революции в метрополии и достаточно жесткими законами против бедности и любых посягательств на собственность, поток каторжных поселенцев был достаточно заметным. Если первая партия каторжников, высаженная на австралийские берега в 1788 году, составляла около 800 человек (и 200 охраняющих их солдат), то всего в Австралию было сослано 168 тыс. человек. Тем не менее каторжная колонизация могла обеспечить лишь весьма ограниченное заселение и освоение континента, причем население это располагалось некомпактно, было разбросано на значительные расстояния и разрозненно.

В первые десятилетия XIX века Сидней, где размещалась резиденция губернатора, не связывали с другими колониями ни железные, ни грунтовые дороги, не говоря уже о телеграфе. К середине XIX века население британских колоний в южной и юго-восточной Австралии не превышало 80 тыс. человек. В 50-х годах XIX века в южной Австралии, в районе Балларета (что близ порта Мельбурн) обнаружили золото. Золотая лихорадка, охватившая Австралию, стала гигантским стимулом колонизации; в 1853 году в Мельбурн прибывало ежегодно до тысячи судов. В течение десяти лет население колонии выросло до полумиллиона, а в Мельбурне насчитывалось около 140 тыс. жителей<sup>12</sup>.

Таким образом, на фоне каторжной колонизации континента, размещения сравнительно незначительных масс людей на широком пространстве, возник густонаселенный анклав, живущий бурной и интенсивной жизнью.

Чрезвычайно важно, однако, то, что в Австралии колонизация *не* была двойной, матрешечной (термин, который я употребляю применительно к России). Дело в том, что каторжная колонизация и колонизация, связанная с “золотой лихорадкой” и последовавшим за ней экономическим бумом, происходили не параллельно, а (используем здесь электротехнический термин) последовательно. Ссылка в Новый Южный Уэльс была прекращена в 1848 году (то есть еще до

начала золотоискательского бума), на Землю Ван-Димена (нынешняя Тасмания) — в 1853 году, и лишь на Западное побережье континента корабли с каторжниками приходили вплоть до 1868 года.

Смена *типа* колонизации (то, чего не было в Сибири) привела к тому, что колонизация, импульсы которой шли от центра, колонизация, весьма напоминая освоение Сибири и Дальнего Востока, превратилась в колонизацию типа американской, и не случайно, что в смысле технологий власти и организации властного пространства Австралия в конечном счете оказалась значительно ближе к США, чем к России.

Вместе с тем специфика поводов переселения в Австралию (каторга, “золотая лихорадка”) создавали и специфический контингент населения, отличавшийся от переселенцев в США. В частности, для Австралии было совсем не характерно то, что Макс Вебер назвал сектами (то есть наличие закрытых общностей, основанных на волюнтаристском принципе инкорпорации новых членов) и соответственно там не было того этического (не авторитарного) по своим классифицирующим признакам, но чрезвычайно жесткого по своим дисциплинарным потенциям пространства, которые создавали описанные Вебером секты в Америке.

После начала “золотой лихорадки” Мельбурн соединили со столицей золотоискателей Балларетом короткой железнодорожной веткой, а чуть позже установили телеграфное сообщение между Мельбурном, Аделаидой и Сиднеем. Одним из основных средств передвижения в Австралии становится дилижанс. Со строительством Суэцкого канала морской путь из Англии в Австралию, занимавший два с небольшим месяца, должен был существенно сократиться.

В то же время сухие засушливые, порой практически безводные районы центральной Австралии с резко континентальным климатом оставались непреодолимым препятствием для движения поселенцев от побережья в глубь континента. В итоге колонизация Австралии не стала аналогом

континентальной колонизации типа американской или островной колонизации, когда переселенцы, начав с океанического побережья, очень быстро достигают центральных районов открытой ими земли.

К 1860 году

*«...поселенцы не смогли не только “приручить”, но даже исследовать попавший к ним в руки материк. Они лепились вдоль его южной и восточной кромки. Сидней, Мельбурн, Аделаида и Брисбен с прилегающими городками и поселками выглядели точками на континенте размером с Соединенные Штаты. Все они — прачки и рудокопы, лавочники и грузчики, раскатывающие в экипажах по Коллинз-стрит нувориши, дамы в кринолинах, потягивающие шампанское на балах в Выставочном павильоне, — все они жили в маленькой капсуле, словно подвешенные в пространстве. И любой шаг за пределы обитаемого мира мог стоить жизни»<sup>13</sup>.*

Вместе с тем непроходимые пространства внутренних областей Австралии, которые часто сравнивают с Сахарой, стали препятствием для развития естественной колонизации из Юго-Восточной Азии точно так же, как Сахара преградила путь иммиграции из Европы в Центральную Африку<sup>14</sup>. Но если в Африке два потока колонизации все-таки пересеклись, вызвав кризис отношений между британской и французской колониальными империями (вспомним “фашодский инцидент” 1898 года), то в Австралии колонизация не имела параллельных потоков и векторов, в силу чего население континента оставалось относительно мононациональным, состоящим из англичан, ирландцев и шотландцев (потенции колонизации из Юго-Восточной Азии дали к середине XIX века только 34 тыс. переселенцев китайского происхождения из полумиллиона жителей штата Виктория)<sup>15</sup>.

Важно, что одним из стимулов, побуждающих к движению во внутренние районы континента, и в частности к пересечению его с юга на север, было стремление сократить время сообщения с метрополией, ускорить время прохождения импульсов власти. В начале второй половины XIX

века, как уже отмечалось, австралийцев отделяли от Англии два с лишним месяца плавания. Но если бы удалось протянуть телеграфную линию от Аделаиды до северного побережья континента и соединить ее с кабелем, уже проложенным в Юго-Восточную Азию из Индии, импульсы власти достигали бы континента на порядок быстрее<sup>16</sup>.

Итак, колонизация Австралии шла от побережья в глубь континента — но при этом не совсем так, как в Америке, и совсем не так, как в России. Можно сказать, что австралийская колонизация была почти полной, абсолютной противоположностью российской.

Вместе с тем как в России, так и в Австралии, формирование сплошного пространства власти происходило на фоне огромных разрывов в осваиваемой территории.

В Америке, как я уже говорил, *украйн* не было вообще. А в Австралии *украиной*, *окраиной* был именно центр, центр континента. Именно туда оттеснялось коренное аборигенное население.

Отсюда и роль столицы в Австралии: Канберра — скучный заурядный городок, “город без тротуаров”, в котором несколько десятков тысяч правительственных чиновников тихо умирают от скуки и который не играет в геополитической структуре Австралии никакой роли. Эта столица — символ *отсутствия центра*.

Иными словами, Америка и Австралия — страны эмигрантов и сделаны под эмигрантов. А Россия — страна внутренней колонизации, ассимиляции, подключения других народов.

Правда, в Австралии, в отличие от Америки, колонизация осуществлялась на относительно мононациональной основе: здесь была каторга, куда ссылали приговоренных британцев из метрополии. В Америке же переселенческая масса была в национальном отношении куда более пестрой.

Поэтому переселение, колонизации Америки и Австралии были фактором формирования соответствующей технологической структуры власти; эта структура формирова-

лась и корректировалась в ходе процесса колонизации, в то время как в России колонизация представляла собой прежде всего наложение существовавших в центре технологических матриц на периферийное пространство.

### *“Высыхающее пятно”: феномен деколонизации*

Одним из следствий иницилируемой и регулируемой властью колонизации является способность созданного таким образом пространства власти сохранять стабильность и свои основные параметры только в условиях постоянного воспроизводства данного, и никакого иного, типа власти. Переселение, изначально основанное на экономическом интересе мигранта, оказывается более стойким и необратимым процессом, нежели перемещение значительной человеческой массы и локализация ее на новом месте под давлением, а порой и принуждением со стороны центра, власти. Переселение первого типа идет как бы в рамках гражданского общества; колонизация второго рода есть процесс прежде всего технологический. Поэтому если в технологической структуре (особенно в централизованной техноструктуре) происходят сбои, итоги колонизационного процесса, даже весьма долговременного, могут быть поставлены под сомнение; может начаться обратный процесс (*деколонизация*); территории, где техноструктура перестала действовать должным образом, обнаружила свою технологическую недостаточность, могут стать объектом новой колонизации, стихийной или целенаправленной, осуществляемой иными этническими элементами или даже регулируемой из центра иной техноструктуры.

Более того: когда я говорю об организации пространства в виде звезды, не следует представлять некую фигуру, возникшую в непрерывном, сплошном пространстве, фигуру, из центра которой на периферию идет прямая линия, олицетворяющая импульс власти. Этот центр может быть соединен символической линией с изолированными друг от



друга пятнами пространства, замкнутыми на центр, по сути дела с теми же островам. Не с точки зрения географии, а с точки зрения организации пространства власти Чукотка, Магадан и Таймыр — такие же острова, как, скажем, Сахалин. Не случайно после Октябрьской революции, в ходе начавшейся гражданской войны власть на Чукотке (точнее, в Анадыре) менялась синхронно с каждой навигацией в течение шести лет; прибытие одного-единственного корабля могло кардинально изменить соотношение сил: приплывали на пароходе колчаковцы, потом причаливали представители советской власти, затем мятежные казацкие атаманы и т.д.<sup>17</sup>.

Сегодня, вспоминая уже цитированную статью Хайдеггера, можно сказать, что эти районы превращаются из *мест, где божество медлит с появлением, в места, покинутые богом*<sup>18</sup>.

В России на протяжении столетий, независимо от периода или действующего политического режима, ключевым элементом техноструктуры был механизм локализации населения. Гипертрофированное значение этого механизма является имманентной характеристикой российского пространства власти.

Кризис технологической структуры, неспособность ее осуществлять функцию локализации естественным образом порождает изменение пространства власти как такового, сужение его, дестратификацию уже освоенных властью территорий. С подобного рода процессами мы столкнулись, в частности, после 1991 года и распада СССР.

Прежде всего это касается Крайнего Севера. Заселение Севера и Востока стимулировалось в России прежде всего технологиями каторги и ГУЛАГа. Затем на первый план выдвинулся специальный механизм вербовки, связанный с определенным рода материальными стимулами и потенциальной возможностью обрести, немедленно или в обозримой перспективе, сумму жизненных благ, в иных условиях человеку недоступных. Сейчас эти технологии исчезают или уже исчезли. Произошла девальвация значения “северных надбавок” в связи с отпуском цен и, позже, невыплатой зарпла-

ты; государство сложило с себя ответственность за судьбу возвращающихся с Севера на “материк” людей, в том числе связанную с обеспечением их жильем; невероятные трудности встречает обычная на российском Севере практика так называемого “северного завоза” и т.д. В таких условиях система стимулов, при помощи которой обеспечивалось поддержание необходимого для решения тех или иных стратегических задач уровня миграции, практически перестала существовать. Людей, которые едут работать на Север, становится ничтожно мало, а многие работающие возвращаются на “материк”, даже если их здесь ждет весьма неопределенное будущее. Все это вместе взятое ведет к депопуляции целых регионов.

Сходная ситуация на Дальнем Востоке (о проблемах русских, возвращающихся или вытесняемых в Россию из бывших национальных окраин, я не говорю — это особая тема).

Депопуляция отдаленных, окраинных районов провоцирует инфильтрацию сюда населения приграничных государств; особенно серьезной проблемой является китайская колонизация российского Дальнего Востока.

Правда, сходные процессы фиксировались и вызывали тревогу власти еще в начале века. П.А.Столыпин, выступая в Государственной Думе в марте 1908 г. по поводу предполагаемого строительства Амурской железной дороги (отклоненного Думой в начале 1907 г.), уже тогда говорил о том, что при наличии у России отдаленной суровой окраины, богатой золотом, пушниной, лесом, обширными пространствами земли и при наличии “государства густонаселенного, соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В нее прососется чужестранец, если раньше не придет туда русский, и это просачивание... уже началось”<sup>19</sup>.

Причем Столыпин имел в виду не только собственно Амурскую область, по территории которой предполагалось проложить железную дорогу.

*«На нашей дальней окраине, и на Камчатке, и на побережье Охотского моря, уже начался какой-то недобрый процесс. В наши*

*государственный организм уже вклинивается постороннее тело. Для того, чтобы обнять этот вопрос не только с технической, с стратегической точки зрения, но и с более широкой, общегосударственной, политической, надо признать, как важно для этой страны заселение ее»<sup>20</sup>.*

Столыпин, очевидно, рассматривал строительство дороги в связи и в контексте с инициированной им аграрной реформой и планами переселения крестьян из центральной России на Восток. По мысли Столыпина, заселять земли вдоль железной дороги должны не каторжники, не ссыльные, а именно переселенцы. Поэтому Столыпин заботится о том, чтобы дорога по возможности не проходила по местам скалистым, а пересекала регионы, пригодные для земледелия. “Живым примером” не только прошедшего, но и будущего являются живущие в Амурской области молокане, ведущие вполне культурное сельское хозяйство и обрабатывающие землю американскими машинами.

Организация пространства власти через-центр вызывает де-колониализацию в ситуации, когда у этого центра возникают проблемы того или иного порядка.

*«Если у нас не хватит жизненных соков на работу зарубцевания всех нанесенных ей (России. — С.К.) ран, то наиболее отдаленные, наиболее истерзанные части ее, раньше, чем окрепнет центр, могут, как пораженные антоновым огнем, безболезненно и незаметно опасть, отсохнуть, отвалиться»<sup>21</sup>.*

Правительству Столыпина, однако, не было отпущено достаточно времени для того, чтобы противопоставить нечто существенное просачиванию чужеземцев (прежде всего, очевидно, японцев, заселявших не только отошедший к Японии по Портсмутскому миру Южный Сахалин, но и северную часть острова, и китайцев) и противодействия “недобрым процессам”.

Кардинально изменить ситуацию удалось только после второй мировой войны, когда вслед за фактором ГУЛАГа появилась Китайская Народная Республика, контролирующая свое население столь же жестко, как и СССР. Про-

блема стала вновь проявлять себя после известного советско-китайского конфликта, причем эксцессы, подобные боям на острове Даманский, сменились инфильтрацией этнических китайцев на территорию России. Сегодня на Дальнем Востоке и дальше, в прилегающих к нему на западе регионах, по некоторым оценкам, проживает около 5 млн. китайцев, что дает исследователю возможность сопоставить модель колонизации российских Сибири и Дальнего Востока с разворачивающейся ныне полулегальной колонизацией Китаем своих “северных территорий”.

## 2. Метаморфозы техноструктуры

### *Орда как “внешний центр”*

Примечательно, однако, что последовательная колонизация Сибири и Дальнего Востока началась только после того, как определилась структура пространства Северо-Восточной Руси, то есть региона, откуда начиналась колонизация русских земель, давшая возможность Московской Руси превратиться в Российскую империю. Колонизация/освоение/покорение Сибири и Дальнего Востока начинается тогда, когда в Северо-Восточной Руси выявляется центр, который организует окружающее его пространство *по типу звезды*, — и эта модель организации пространства власти начинает распространяться по всей территории будущей Российской империи.

Этот центр, в свою очередь, начинает формироваться еще в рамках зависимой от Орды Руси и в контексте технологий, при помощи которых ордынские ханы контролировали покоренные ими русские земли: московский князь получает в Орде ярлык и право собирать дань для Орды со всех подчиненных ей русских земель — право, предполагающее одновременно и ответственность за недоимки по сбору дани<sup>22</sup>.

Создание подобного механизма сбора дани подняло значение великокняжеской власти. Звание великого князя, пишет, например, Костомаров, при новых условиях татарс-

кого господства сделалось гораздо важнее и знаменательнее, чем было прежде<sup>23</sup>.

С возвышением московских князей, замечает тот же Костомаров, “неизбежно должны были приливать в их землю военные силы из других земель, а следовательно, другие земли ослабевали и князья их невольно должны были уступить тому, кто сильнее...”<sup>24</sup>

Иными словами, сильные становились сильнее, а прочие, ослабевая, вынуждены были подчиняться — хотя долгое время преобладающим фактором подчинения всех прочих князей Москве была не сила Московского княжества как такового, а военная сила, стоявшая за ханским ярлыком.

Первоначально, впрочем, татары сами собирали налогооблагаемую ими на Русь дань, так называемый *выход*, для чего в течение первых 35 лет ига трижды производили через присылаемых из Орды *численников* поголовную перепись народа, *число* (исключение делалось лишь для духовенства)\*.

Сохранились летописные свидетельства о переписи 1257—1259 гг. Лаврентьевская летопись упоминает о том, что в русских землях татарами была создана особая организация для взимания дани, были поставлены десятники, сотники, тысячники и темники (начальники над 10 тысячами). В историографии существуют различные интерпретации летописного текста — от убеждения в том, что все эти чиновники были татарами (Н.И.Костомаров<sup>25</sup>) и утверждения о том, что названные выше должности представляли собой своего рода “командный состав” полков, набиравшихся из населения завоеванных областей (А.Н.Насонов), до предположения о том, что эти десятники и т.д. были своего рода ответственными за сбор дани с десятков, сотен и т.д. плательщиков дани (М.Н.Тихоми-

---

\* С.М.Соловьев замечает, что “во всех странах, подвластных татарам... служители всех религий, исключая еврейских раввинов, были освобождены от дани” (Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. II. М., 1988. С. 154).

ров, Дж.Феннел и др.<sup>26</sup>). Последнее, впрочем, кажется более вероятным.

В то же время практически неизвестно, как функционировала созданная по образцу военной организации татар административно-фискальная вертикаль, какова была мера ответственности входящих в нее людей за недоимки и т.п. Ясно, однако, основное: на Руси была создана некая техноструктура по татарскому образцу и, как писал М.Н.Покровский, “правильная система раскладки, которая на много веков пережила самих татар”<sup>27</sup>.

В каком-то смысле татарская система взимания “выхода” может рассматриваться как прообраз введенной Петром I подушной подати и, вслед за этим, в ситуации, когда подать стало трудно, а порой почти невозможно собрать, — круговой поруки в городах и волостях<sup>28</sup>.

Это, однако, верно лишь отчасти. Каким бы естественным ни казалось предположение о том, что система своеобразной “десятеричной организации” населения в фискальных целях стала, возможно, предтечей системы коллективной (как правило, общинной) фискальной ответственности, которая была одной из самых характерных черт технологического пространства России и одним из наиболее труднопреодолимых препятствий на пути ограничения и ликвидации крепостной зависимости, это все же не более чем предположение. Конкретные данные, подтверждающие этот тезис, найти не так просто. Широко известна практика татарских “численников”, собирателей дани; она отразилась, в частности, в известной нам с детских лет песне о Щелкане Дюдентевиче, который “с князей брал по сту рублей, с бояр по пятидесят, с крестьян по пяти рублей; у кого денег нет, у того дитя возьмет; у кого дитя нет, у того жену возьмет; у кого жены-то нет, того самого головой возьмет” и т.д. В этом фрагменте важно увидеть не только свидетельство беспощадности татар (что нас учили видеть со школьной скамьи), но и то, что здесь отсутствуют какие бы то ни было упоминания о *коллективной* фискальной ответственности; очевид-

но, практика коллективной фискальной ответственности формировалась не только под воздействием князей и помещиков (им она гарантировала сбор податей в полном объеме), но и создавалась как способ самосохранения городской и сельской общины, необходимый как для индивидуального, так и для коллективного выживания. (Подчеркну еще раз, что *хронологически* создание системы взимания дани, начиная от десятников и выше, *предшествует* жесткой индивидуальной фискальной ответственности и никоим образом не отменяет ее.) В то же время нельзя исключать того, что прообразом столь типичной для послемонгольской России коллективной фискальной ответственности, *круговой поруки*, явилась практика, утвердившаяся в монгольском войске: беглецы с поля боя умерщвлялись; если из *десятки* один или несколько храбро бились, а остальные проявляли трусость, эти последние умерщвлялись; но если из десятки один или несколько были взяты в плен, а товарищи их не освободили, то последние умерщвлялись...<sup>29</sup>

На какое-то время монгольскую дань взяли на откуп хивинские купцы, именовавшиеся бесерменами и принадлежавшие к мусульманской вере; было немало случаев, когда народ в русских городах побивал откупщиков дани; к такого рода инцидентам ханская власть относилась порой более спокойно, нежели к избиению собственно ордынских чиновников<sup>30</sup>.

Впоследствии ханы стали поручать сбор дани великому князю владимирскому (в период монгольского ига великокняжеский стол во Владимире, за вычетом нескольких коротких периодов, занимали московские князья). Нередко высказывается достаточно резонное мнение о том, что непосредственным толчком для подобной трансформации послужило антитатарское восстание в Твери в 1327 году, когда горожане перебили присланный к ним для сбора дани татарский отряд во главе с Чол-ханом (в русском фольклоре — Шелканом). Очевидно, всплески антитатарских выступлений в русских землях XIII—XIV вв., остававшиеся, впрочем, скорее исключением, чем неким постоянно при-

сутствующим фактором политической жизни, становятся катализатором объединения Руси, но в чрезвычайно своеобразной и специфической форме, через и при посредстве созданных завоевателями технологических структур.

Однако, рассматривая проблему в контексте нашей исследовательской парадигмы, можно с не меньшими основаниями предположить, что технологическая структура, созданная татарами, достигла к исходу первой четверти XIV века определенного автоматизма в своем функционировании и уже могла эффективно действовать независимо от того, кто именно непосредственно осуществлял те или иные технические операции, монголы или русские.

Помимо жесткой централизованной фискальной системы татары внедрили в русских землях не менее жесткую систему рекрутского набора. Военная организация Золотой Орды требовала иных, по сравнению с русским войском (княжеская дружина, подкреплённая ополчением), технологий. Сбор дани и набор рекрутов происходили в русских землях параллельно, начиная с переписи 1257 года. В русских летописях с горечью отмечается, что татары не только берут дань и заставляют тех, кто не способен ее уплатить, отбывать долги или угоняют их в рабство, но "...гоняют христиан веляще [вместе] с собой воинствовать". (Очевидно, рекрутская повинность была отменена ханом Берке в годы правления великого князя Александра Невского<sup>31</sup>.)

Наконец, как показали исследования московского историка А.Л.Юрганова, монгольская система властвования оказала серьезное влияние на формирование удельно-вотчинной системы на Руси. В Монгольском государстве постепенно выделился один род, подчинивший себе другие роды и закрепивший свою власть над территорией; государство рассматривалось как достояние рода Чингисидов; именно с этим историческим обстоятельством было связано право наследования собственности: государственная территория, принадлежавшая одному роду, делится на уделы между членами правящей семьи<sup>32</sup>.



В рамках такой модели наследования, замечает Юрганов, вскоре обнаружилось естественное противостояние двух типов передачи власти: от отца к сыну или от брата к брату. К концу XIII в. горизонтальное право наследования постепенно отодвигается на второй план, усиливаются децентрализаторские тенденции, постепенно побеждает принцип наследования от отца к сыну, способствующий установлению единодержавия, на местах создаются династии областных правителей<sup>33</sup>. Именно в этом контексте, полагает историк, следует рассматривать и поворот к утверждению наследственного права местных правителей в Северо-Восточной Руси в XIV в.

Отмечая, что развитие удельно-вотчинной системы в Северо-Восточной Руси показало ее генетическую связь как с древнерусской, так и с монгольской моделями власти и собственности, Юрганов делает весьма обязывающий вывод:

*«...Рискнем утверждать, что решающее значение в формировании этой системы сыграла включенность северо-восточных земель в Монгольскую империю»<sup>34</sup>.*

Таким образом, можно идентифицировать три технологических элемента явно татарского происхождения, сыгравших важную роль в объединении русских земель и создании единого централизованного государства: система сбора дани, рекрутский набор и модель передачи власти и собственности.

Вместе с тем не следует, думается, связывать внедрение дисциплинарного начала в северо-восточных русских землях исключительно с татарским воздействием. Здесь трудно согласиться с Чаадаевым, связывавшим внедрение дисциплинарного начала на Руси с монгольским игом, или с Л.Н.Гумилевым, относившим строгую дисциплину к нормам поведения, заимствованным русскими у монголов<sup>35</sup>.

Впрочем, Чаадаев был чрезвычайно категоричным поборником дисциплины как таковой — он подчеркивал даже пользу для России татарского ига, явившегося своего рода дисциплинирующим фактором:

*«Именно татарское иго приучило нас ко всем возможным формам повиновения»<sup>36</sup>.*

Правда, если быть точным, идея не столь оригинальна; во всяком случае, десятком лет ранее ее высказывал Н.В.Станкевич в известной статье “О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III”, хотя и в несколько ином контексте. Так или иначе, но помимо трех упомянутых “татароморфных” составляющих технологического пространства будущей Московской Руси весьма отчетливо проявляют себя также технологии, имеющие не татарские, степные, кочевнические, а отчетливые русские корни. Речь идет о закреплении крестьянства (которое стало фактом еще в Киевской Руси) и механизме наследования: я имею в виду горизонтальную (от старшего брата к младшим) систему наследования власти, преодоленную (постепенно и с большими сложностями) лишь в московский период русской истории.

Тем не менее именно новый фискальный механизм, использовавшийся Калитой и его преемниками, механизм, противодействие которому со стороны прочих русских князей сдерживается не только силой и влиянием Москвы, но и потенциальным карательным вмешательством Орды, позволяет московским князьям создать *центр власти* еще до образования единого русского централизованного государства. (Н.И.Костомаров замечает, что после 1259 года Новгород не видел у себя татарских чиновников, но участвовал в платеже дани.)

*«Эта повинность, — констатирует историк, — удерживала Новгород в связи с прочими русскими князьями»<sup>37</sup>.*

Орда, таким образом, сыграла роль своеобразного “внешнего центра”, центра, вынесенного за рамки территории, технологическую структуру которой он определяет. (Подобная модель может в принципе рассматриваться как одна из возможных альтернатив нынешнего развития России — я имею в виду ситуацию, когда в условиях предельной слабости государ-

ственных институтов и распада пространства власти роль центра возьмет на себя, например, Запад, международные институты и организации типа МВФ, Всемирного банка и т.п.. Разумеется, сейчас не идет речь о реальности и определении своего отношения к подобной перспективе — просто имеет смысл обозначить еще одну ситуацию “внешнего центра” в контексте российского развития.)

Таким образом, уже со второй четверти XIV века русское (позже — российское) пространство власти формируется в виде *звезды*, замыкается на центр — правда, сначала этот центр выступает как подчиненный, под-ордынский центр власти. Кстати, в генезисе русского централизованного государства очень ясно проявляется различие, несовпадение начал *властного* и *политического*, *властного* и *государственного*, дискретность их существования — ведь сначала была создана фискальная, податная инфраструктура единых (в будущем) русских земель, затем, после перемещения из Киева во Владимир, а затем и в Москву митрополичьей кафедры, — Москва сделалась и церковной столицей Руси; и лишь опираясь на эти структуры власти, московские князья сумели подчинить себе сопредельные княжества политически, достигнуть государственного единства. Иными словами, создание техноструктуры, общего пространства власти предшествовало возникновению общерусского государства.

### *Организация пространства и самосохранение власти*

В условиях *бескрайнего* географического пространства, представляющего собой арену практически неограниченной, вплоть до достижения так называемых “естественных границ”, колонизации (от Северного до Черного морей и от Балтики до Тихого океана), любое резкое приращение колонизованной территории ставило проблему адекватного приспособления к новой ситуации старой технологической структуры, “переналадки” пространства власти. Расшире-

ние пространства власти было, таким образом, вызовом техноструктуре, которая это пространство удерживала, стратифицировала, стягивала воедино.

Этот процесс противоборства власти и пространства, однако, не был линейным, постепенным, предопределенным. Напротив, он носил дискретный, скачкообразный, драматический характер; порой власть сталкивалась с тяжелыми технологическими кризисами, порожденными асинхронностью развития государства, приращения территории и относительно консервативной и малоподвижной техноструктуры.

Примером подобного сложного взаимодействия являются феодальные войны в период формирования централизованного русского государства в Северо-Восточной Руси. Одним из резонов, позволяющим дать своего рода историческое оправдание этим кровавым междоусобицам, братоубийственным, выражаясь высокопарным слогом, столкновениям, принято считать образование единого русского государства, способного прежде всего дать отпор Золотой Орде и покончить с ненавистным игом. В то же время множество самых различных мыслителей, представляющих самые различные научные дисциплины, указывают на специфическую и весьма значительную роль монголо-татарского ига в становлении русской государственности, от уже цитированных Н.В.Станкевича и П.Я.Чаадаева до Н.А.Полевого, утверждавшего, что русское единое государство возникает в результате противодействия Руси “оглушающему удару Азии”, и А.Тойнби, трактовавшего иго как источник импульса к единению Руси в характерных для него терминах “вызов-ответ”<sup>38</sup>.

Объединение Руси имело между тем и ряд иных исторических смыслов, и в их числе насущную необходимость создать пространство власти, адекватное технологической структуре. За этой весьма абстрактной на первый взгляд формулой лежат достаточно конкретные вещи: в частности, складывавшиеся технологии глобальной локализации насе-

ления Руси не могли эффективно функционировать в узком пространстве удельных княжеств — крестьяне просто использовали возможность уйти не только от одного хозяина к другому, но и из пределов одного княжества в другое. Категория пришлых крестьян, *инокняжцев* — одна из наиболее часто упоминаемых в русских правовых актах XIV—XV вв. Хронологически запрет на *перезыв* крестьян в пределах данного княжества появляется раньше, нежели “людей из-иных княжений”. Согласно исследованиям Л.В.Черепнина, уже в середине XV века в землях Северо-Восточной Руси законным считается перезыв лишь крестьян-“инокняжцев”<sup>39</sup>. Параллельно властью предпринимается масса усилий для того, чтобы ограничить перемещение крестьян через границы княжеств — обязательство не принимать черных крестьян из “иных княжений” было условием договоров, заключаемых князьями между собой<sup>40</sup>; однако очевидно, что радикальным решением вопроса, способным обеспечить нормальное действие складывающихся технологий локализации, являлось только создание единого государства, и это происходит — процесс обретает завершенность с падением Новгородской республики в 1478 году и Тверского княжества в 1485 году (Рязань и Псков, формально включенные в состав Русского государства в начале XVI века, фактически со второй половины XV века находились в зависимости от Москвы). «На территории единого государства уже нельзя было “перезывать” чужих крестьян, надо было оформить их переход в соответствии с установленными законом правилами» (Л.В.Черепнин<sup>41</sup>). Хотя, разумеется, еще долгое время существовал разрыв между нормами закона и реальной практикой и стремление делить *людей* не по закону, а по силе и влиянию.

Таким образом ядро русского государства сложилось в процессе реализации логики развития властных технологий (что, естественно, не отрицает роли иных факторов).

Другой, и весьма глубокий, кризис российской технотрунтуры развивался на протяжении всей второй половины

XVI века, сначала латентно, скрытно, а затем проявил себя в бурной полосе политических потрясений (от опричнины до Смутного времени). В 70-е годы XVI века, период великого запустения Руси, обнаружилось, что существующая технологическая структура не в состоянии обеспечить нормальное функционирование пространства власти, и прежде всего она не в состоянии локализовать население. Сегодня мы, наверное, не в состоянии даже представить масштабы того запустения, которое надвинулось на Московскую Русь, и той *миграции-бегства*, которая происходила в Северо-Восточной России (а точнее, *из* Северо-Восточной России).

Этот кризис и его предпосылки интерпретировались по-разному. Некоторые причины лежат на поверхности: набег крымских татар Девлет-Гирея, разоривший Северо-Восточную Русь и сжегшего в 1571 г. Москву (по некоторым данным, погибло 800 тыс. человек и уведено в плен 150 тыс., эпидемии (“мор”) 1550—1570-х годов (в 1552 году в одном только Новгороде умерло около 280 тыс. человек, через год в Пскове эпидемия унесла 25 тыс.; мор был в русских землях и в 1570—1571 годах...<sup>42</sup> Наконец, множество жизней унес опричный террор... Но ведь и опричина может рассматриваться не только как причина запустения земель Московского царства, но и как следствие неких более общих причин, приведших к этому запустению... Есть, впрочем, и иные, аналитические интерпретации — М.Н.Покровский, например, объяснял ситуацию 70-х годов кризисом помещичьего хозяйства.

На самом деле это “разбегание” людей и запустение земли объяснить, возможно, ничуть не легче, чем загадочное запустение Киевской Руси.

Вероятно, технологии власти, сформировавшиеся в российском пространстве власти и сформировавшие самое это пространство, оказались неадекватны этому пространству: последнее расширилось (завоевание Казанского и Астраханского ханств — наиболее очевидные признаки *качественного* расширения этого пространства: была

открыта возможность колониационного движения на Восток), а технологии эволюционировали медленно или оставались прежними.

Суть процесса вовсе не в том, что техноструктура не распространилась *на вновь освоенное пространство*, к окраинам; главное, что при изменении параметров пространства в целом прежняя техноструктура уже не могла контролировать население *в рамках традиционного государственного ядра*. Проблема была не в том, чтобы освоить технологически периферию государства, вновь завоеванные земли (хотя и эта проблема существовала). Выживание государства зависело от способности создать новую техноструктуру, адекватную новому качеству пространства.

Учрежденная Иваном Грозным опричнина была почти символической фиксацией этого противоречия.

*«Переворот 3 декабря 1564 года, — писал М.Н.Покровский, — и был попыткой не то чтобы внести новое содержание в старые формы, а поставить новые формы рядом со старыми, не трогая старых учреждений...»<sup>43</sup>.*

Однако сам путь форсированного создания новой техноструктуры (“поставить рядом”) оказался, по-видимому, неудачным, или же политические “составляющие” опричнины действовали разнонаправленно с технологическими — так или иначе, опричнина оказалась экспериментом, возможно, и оправданным с точки зрения *власти*, но при этом вопиюще *антигосударственным*. Оказалось невозможным усилить и ужесточить техноструктуру, расшатывая устои государственности (“раздвоение” государства на земщину и опричнину) и реанимируя архаические государственно-политические практики (опричнина как *удел* государя).

Опричнина представляла собой, в сущности, попытку осуществить технологическую модернизацию в рамках архаических государственных форм (удел), и в этом плане она была *технологической утопией*. Механическое, географическое разделение *опричнины*, имитирующей архаический образ удела и стимулирующей утверждение *новых* взаимоот-

ношений царя и его *новой* социальной опоры, служивого класса, дворянства, и *земщины*, где сохранялся прежний статус боярства и в то же время не разрушались государственные формы, сложившиеся в России к середине XVI века естественным путем, оказалось невозможным. Взаимоотношение старой техноструктуры и новых технологий, обеспечение технологической эволюции должно было, видимо, осуществляться иным, не столь волюнтаристским и прямолинейным путем.

Н.Я.Эйдельман, ссылаясь на некоторые относительно недавние исследования (в частности, Д.Н.Альшица), находил вполне правомерным мнение о том, что хронологически опричнина выходит за пределы семилетнего периода 1565—1572 годов; под другими названиями новая мощная карательная организация продолжала существовать до конца правления Ивана Грозного (1584 год), да и впоследствии те или иные “опричные” методы управления проявляли себя<sup>44</sup>.

Надо заметить, правда, что подобное понимание опричины не является достижением недавних исследований. Так М.Н.Покровский еще в 1910-х годах писал о том, что

*«опричина была лишь кульминационным пунктом длинного исторического процесса, который начался задолго до Грозного, кончился не скоро после его смерти...»*<sup>45</sup>.

Более того, Покровский говорит о «неотвратимой стихийности» этого процесса и незначительной его зависимости от личности верховного правителя: Иван Грозный, Федор Иванович и Борис Годунов представляли, согласно Покровскому, три совершенно различных психологических типа: истеричного самодура, безвольной игрушки в чужих руках “и, может быть, единственного государственного человека Московской Руси, всю жизнь подчинившего известной политической задаче и погибшего от того, что не смог ее разрешить”<sup>46</sup>. Тем не менее “политика опричины проходит красной нитью через все три царствования — от 60-х годов шестнадцатого века вплоть до Смуты, имея минуты ослабления и напряжения, но вне всякой связи с чьей-либо личной волей”<sup>47</sup>.



Возможно, с точки зрения политической опричина и “продолжала существовать” после Грозного, но во всяком случае уже не в виде одной из двух параллельных и притом разделенных в географическом пространстве техноструктур. Ситуацию после 1571 года можно, очевидно, описать в терминах возвращения к традиционной, ничуть не утопической модели, когда основы новой технологической структуры возникают и созревают в лоне старой. Иными словами, имеет место своего рода наложение двух технологических моделей друг на друга в рамках одного географического пространства, и подобное наложение формирует облик пространства власти.

Разумеется, подобная ситуация предопределяет конфликт старых и новых технологических механизмов и затрудняет становление последних. Не случайно идея Грозного — географическое, пространственное разделение двух техноструктур — в иной, не столь откровенно утопической форме осуществляется Петром I, который попытался по-иному решить ту же проблему. Петр просто перенес столицу на новое место, оставив старые институты и учреждения в Москве, а новые создавая уже в новом, *отдельном* географическом пространстве, на берегах европейского, Балтийского (“Немецкого”) моря, в Петербурге.

Технологическая революция Петра увенчалась успехом не только вследствие более практического и менее идеалистического отношения царя-модернизатора к взаимоотношению “нового” и “старого” царств. Дело еще и в том, что политика Петра имела иные, более весомые предпосылки, прежде всего постепенное, но неуклонное закрепощение крестьянства в период между 1580 и 1649 годами, с одной стороны, и далеко зашедший процесс создания системы помещичьего землевладения (при Петре, в сущности, и завершившийся), с другой. Именно эти базисные структуры способствовали созданию обновленной, адекватной новому российскому пространству техноструктуры.

Впрочем, с аналогичными проблемами власть сталкивалась еще не раз, хотя и не в столь болезненной форме (об этом еще будет сказано в следующем разделе в связи с подключением в систему взаимодействия “географическое пространство — пространство власти — техноструктура” нового, геополитического компонента.

### *“Москва — Третий Рим”: диффузия символического насилия*

В.П.Подорога отметил весьма интересный механизм камуфлирования, сокрытия агрессивной, репрессивной природы тоталитарных институтов. Исходная его посылка заключается в том, что, поскольку избыточность насилия в тоталитарном обществе очень высока, эта избыточность может диффузировать через символические ценностные моральные формы. ГУЛАГ 30-х годов исчез, но осталась возможность контролировать общество через символически-ценностные системы, и угроза репрессий, наказания сохранилась. Прямые, грубые физические меры насилия постепенно переводятся в план символически-ценностный, и у обывателя даже складывается впечатление, что, скажем, в период застоя карательные механизмы мало проявляли себя...

Эти суждения подводят нас к мысли — а не может ли (не мог ли) происходить обратный процесс, перевод символически-ценностного ряда в насилие? Ведь тоталитаризм неизбежно накапливает какой-то потенциал избыточного насилия, да и в эпоху дототалитарную избыток насилия в российском пространстве власти был очевиден.

Вероятно, идея “Москва — Третий Рим” (“два Рима пadoша, а третьей стоит, а четвертому не быти”<sup>48</sup>), изложенная старцем Филофеем в посланиях великому князю Василию III и дьяку Михаилу Мунехину (написанных соответственно около 1514—1521 и 1527—1528 гг., то есть еще до Ивана Грозного), мыслилась ее автором как универсальная идеология усиливающегося русского православного государства. Но была ли она

*воспринята и востребована властью как общегосударственная идеология? Или Третьим Римом предлагалось стать опрични- не? В свете того, что было сказано мною ранее о разделении государства на земщину и опричнину как технологической утопии, второе представляется более вероятным. И *каким* Римом (не по счету, а по сути) хотел видеть Московское царство Фи- лофей, и каким — царь Иван IV?*

Не следует воспринимать события далекого прошлого через призму позднейших происшествий. Скажем, столь заметная фигура в российской публицистике XVI века, как И.С.Пересветов, рассматривает падение Константинополя как закономерное наказание власти, погрязшей в грехе (грех против веры), с одной стороны, и уступившей аристокра- тии, допустившей боярское, аристократическое правление (грех против “правды”), с другой. Пересветов (как и неко- торые другие русские публицисты его эпохи, например Зи- новий Отенский) говорит о введении турками “правды” и объясняет падение Царьграда “неправдами греков”<sup>49</sup>.

Истолкованная в утопическом духе фигура султана Махмуда II является для него не фигурой “поганого” или “ба- сурмана”, а неким образцом для подражания, прежде всего в сфере организации власти и управления государством.

Чтобы понять место идей Пересветова в идейной жиз- ни Руси, надо напомнить, что долгое время само реальное существование этой исторической фигуры ставилось под сомнение: одни историки полагали, что под этим именем скрывался известный протопоп Сильвестр, другие — цар- ский фаворит и один из реальных правителей России Алек- сей Адашев, некоторые даже считали, что под именем Пе- ресветова писал сам Иван Васильевич Грозный. Равным образом, бытовало мнение, что публицистические произве- дения Пересветова были созданы для того, чтобы *задним числом* оправдать политику Ивана Грозного.

Апеллируя к турецкой практике, Пересветов предложил программу реформирования государства, которая была на- столько значительна, что могла быть приписана и факти-

ческому главе правительства (Адашев), и даже царю, что свидетельствует о далеко не маргинальном характере пересветовских опусов.

Очевидно, что в России циркулировали не только идеи, созвучные идеям старца Филофея, но и различные интерпретации популярной в XVI веке на Западе идеи “*турецкой реформации*” (первым из отечественных историков на это обратил внимание, по всей видимости, Д.Н.Егоров<sup>50</sup>). Так или иначе, идея защиты православия у Пересветова сочетается и переплетается с идеей заимствования и внедрения в России техноструктуры, созданной теми, кто уничтожил “второй Рим” и принес в Царьград магометанство, или весьма похожей на эту техноструктуры. А это лишний раз говорит о том, что развитие технологии и идеологии отнюдь не симметрично. По всей видимости, мы здесь сталкиваемся с радикальным изменением идеологии при встраивании ее в реально существующие или создаваемые технологические макроструктуры.

Технологический смысл идеи “Москва — Третий Рим” — в усилении пространства власти, созданного в период возвышения Москвы, за счет компонентов уже не существующего реально, но имеющего некое *символическое* бытие властного пространства.

Однако идея “Москва — Третий Рим” не могла быть принята властью в том виде, в каком отстаивал ее ориентированный в осифлянском направлении Филофей. Иван Грозный, постоянно сталкивавшийся с амбициями, которые чуть позже отлились в формулу “священство превыше царства”, обречен был на то, чтобы стать если не последовательным нестяжателем, то во всяком случае безусловным секуляризатором; его *царство* не имело иной материальной основы, кроме новой поместной системы землевладения, которая могла быть создана либо за счет вотчин крупной боярской аристократии, либо за счет земельных владений монастырей.

Не вдаваясь в детали полемики по поводу корреляции между политикой Грозного и сочинениями И.С.Пересвето-

ва, отметим реальные совпадения конструкторов того технологического поля, которое Пересветов связывает с идеальной моделью власти, реализованной *Магмет-салтаном*, и нововведений Ивана IV.

Пересветов пишет о том, что султан создал себе сильную личную охрану, янычар — Грозный создает опричное войско, “царевых псов”.

Пересветов считает образцом турецкую военную организацию и скептически настроен в отношении русского дворянского ополчения, по крайней мере на три четверти состоящего из дворянской челяди, холопов, которых приводили с собой дворяне<sup>51</sup>. Иван Грозный в 1549 или 1550 году учреждает стрелецкое войско численностью в 3000 человек, состоящее из 6 “статей” (приказов) по 500 пищальников в каждом. Вероятно, первоначально именно стрелецкие части должны были стать личной царевой гвардией, вооруженной наиболее действенным по тем временам огнестрельным оружием, пищальями.

Наконец, Пересветов выступает за отмену холопства, поскольку холоп — скверный *воинник*. Холопство, правда, остается; более того, Уложение о службе 1555—1556 гг. подтверждает сложившийся к этому времени порядок службы: с каждых 100 четвертей земли помещик или вотчинник должен был выставить одного воина на коне в полном вооружении. То есть возникает профессиональное (или полупрофессиональное) стрелецкое войско — и одновременно продолжается старая феодальная практика; но все же войско становится зависимо от присутствия холопов в меньшей степени, нежели раньше.

Магмет-салтан дает своим “воинникам” ежегодное жалование и натуральное довольствие; Пересветов убеждает царя, что, если тот хочет покорить Казань, нужно делать то же самое, и в середине 50-х годов действительно вводится регулярная денежная плата служилым людям, правда, не ежегодная, а выдаваемая раз в 3—4 года<sup>52</sup>.

Пересветов с одобрением говорит о том, как Магмет казнил судей, судящих не по “правде”, а по “посулам”, то есть берущих мзду:

*«А просудится судья, ино им пишется такова смерть по уставу Махметеву: возведет его высоко, да бьет его взашей надол, да речет тако: “Не умел еси в доброй славе жити, а верно государю служиши”. А иных живых одирают, да речет таки: “Обростешь телом, отдаст ти ся вина та”»<sup>53</sup>.*

Проще говоря, людей сталкивают вниз с высокого скала или с живых сдирают кожу (а кожи их султан велел выделять, бумагой набить и написать на кожах: “Без таковыя грозы не мочно в царство правды ввести”). Все это весьма напоминает изощренные казни опричных времен.

Проблема влияния идей Пересветова на политику Ивана Грозного, несмотря на усилия множества ярких и серьезных историков, остается сегодня неразрешенной. Но в контексте нашего исследования она и не является первостепенной — важнее то, что организация государства Магмет-салтана в декорациях русской истории смотрится в известной мере *вторичной*, ибо разительно напоминает организацию администрации и войска Золотой Орды. Так же, как у монголов, у Магмет-салтана все “воинники” в полках распределены по десяткам, сотням и тысячам, то есть так же, как в ордынском воинстве. И так же, как в монгольском войске, воин, который бежит с поля боя, все равно будет подвергнут смертной казни.

Иными словами, турецкому султану для того, чтобы быть идеальным правителем, недостает лишь приверженности к православной вере:

*«Турской царь Магмет-салтан правду великую во царство свое ввел, хотя иноплеменник да сердечную радость богу воздал. Аще бы к той правде вера христианская, ино бы с ними ангели беседовали»<sup>54</sup>.*

Но можно посмотреть на ситуацию и по-иному: Иван Васильевич — православный царь, и ему для того, чтобы обеспечить процветание и величие своего государства, не хватает только “правды”, справедливого и действенного государственного устройства Магмет-салтана...

“Правда” турецкого султана и была привнесена в Россию, другой вопрос — как сознательное заимствование или

как независимое творчество в сфере властных технологий. Символический ряд (“Москва — Третий Рим”, “последние (русские) станут первыми, первые (греки) станут последними” и другие символические интерпретации свершившейся судьбы Константинополя и грядущей судьбы Руси) преобразовался в энергию насилия. “Третий Рим” пришел в Россию в кафтане опричника и принес почти пересветовское соединение истового православия и татаро-турецких практик запугивания, разграбления и уничтожения покоренных земель и народов.

Не случайно опричный двор Ивана Грозного в районе Арбата был выстроен как конструктивная, земная копия *дома Господня*, небесного Иерусалима.

Едва ли Пересветов писал свои памфлеты, “задним числом” оправдывая авторитетом султана — победителя Царьграда — действия Ивана IV; еще менее вероятно, что сам Грозный следует за Пересветовым как за политическим наставником. Но трудно не увидеть в событиях эпохи Грозного реанимацию технологического наследия Орды, которое, как я уже отмечал, ранее было воспринято Русью частично, безусловно.

Сознавал это Пересветов или нет, но объективно его публицистика подводила к тому, что восприятие определенных турецких — по сути, “ордынских” — технологий на новом витке развития может поднять Московское царство на новую высоту и обеспечить Руси новую роль в мире, подвергшемся после распада Золотой Орды, Флорентийской унии и падения Царьграда радикальным геополитическим трансформациям, — подобно тому, как некогда ордынский щит и стимулируемая той же Ордой централизация дали Москве возможность стремительно самоутвердиться как государству и как цитадели православия.

И последнее, по счету, но не по важности: идея “Москва — Третий Рим” (в любой форме) могла быть реализована только в “звездоподобном”, замкнутом *на центр* властном

пространстве. Русское пространство власти в первой половине XVI столетия все более обретало подобный облик.

### *Раздвоение технологической машины*

Забегая вперед, отмечу, что нечто, напоминающее технологическую утопию Ивана Грозного, было выстроено в России на рубеже 70—80-х годов прошлого века. Институциональная реакция власти на народовольческий террор привела к появлению весьма своеобразного феномена, раздвоению полицейской контрольной и карательной системы.

*«До первой мировой войны, — пишет Р.Пайпс, — ни в одной другой стране мира не было двух видов полиции: одной для защиты государства, а другой — для защиты его граждан»<sup>55</sup>.*

Речь идет прежде всего о сосуществовании полиции и корпуса жандармов, а впоследствии и охранного отделения. Тот же Р.Пайпс отмечает и еще одну особенность российской системы политической полиции: там, где речь шла о политических преступлениях, жандармский корпус не подлежал судебному надзору; политические преступления или преступления, считавшиеся таковыми, стали в большинстве своем караться помимо суда, административными мерами, предпринимаемыми органами безопасности. Более того, департамент полиции и корпус жандармов были изъяты из сферы юрисдикции гражданских администраций, на территории которых они функционировали.

Таким образом вновь была создана ситуация раздвоения технологической машины, параллельного существования двух техноструктур: одна существовала в рамках развивающегося гражданского общества, другая — в сфере политической, которую власть относила к сфере своей исключительной компетенции<sup>56</sup>.

Между тем власть и властные институты призваны не только карать и наказывать, не только надзирать, но и обеспечивать определенные условия выживания граждан, прежде всего элементарную (в разные периоды истории понимание и границы этой элементарности, естественно,



различны) защиту жизни, имущества и прав граждан (или хотя бы большинства граждан), что достигается прежде всего развитием дисциплинарных структур на микроуровнях социальности.

Сохранение баланса этих двух “сторон” власти, определенная озабоченность власти проблемами граждан при неизбежном приоритете самосохранения дает обществу возможность более или менее нормально функционировать и даже развиваться.

Пренебрежение власти к своим “позитивным” функциям, сосредоточение ее на задаче самосохранения и, более того, экспансии нарушает этот баланс, потенциально, а часто и реально обостряет перманентный конфликт власти и общества и создает ситуацию, когда власть способна обеспечить самосохранение и самовоспроизводство только посредством крайнего, избыточного насилия, ибо общество, презираемое властью, не склонно мириться с ней до бесконечности — но его можно *заставить* сделать это, прибегая к превентивному, универсальному, всепроникающему, избыточному насилию.

Только избыточное насилие может удержать структуры власти, которая не способна внести в жизнь общества позитивное начало в какой бы то ни было форме.

Интересно, что М.Фуко, не оперировавший, как известно, материалами российской истории, полагал, что на микроуровнях социальности власть определяет себя в качестве позитивной санкции, а на макроуровне — в качестве санкции негативной. Этот подход в принципе можно рассматривать как “основной парадокс теории Фуко”<sup>57</sup>. Однако этот парадокс имеет то свойство, что лишь в подобном своеобразном положении сохраняется равновесное состояние внутри машины власти, с одной стороны, и власти и общества — с другой.

В конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века в России нарушается именно это парадоксальное равновесие внутри мегамашины власти; “парадоксальная норма”, добросовестно

зафиксированная Фуко, элиминируется — вместо нее возникает ситуация “непарадоксальной аномальности”, полицейское государство, преддверие тоталитаризма.

Становится очевидным, что развитие гражданского общества и преобразование техноструктуры, изменение облика власти и реформирование того, что не есть власть, нередко происходило в России асинхронно. Период после 1861 года в целом означал либерализацию гражданского общества; но на том же относительно коротком историческом отрезке (по сути дела, с 1845 по 1881 годы) независимо от либеральных реформ, накладываясь на них, происходит становление технологий нового уровня, адекватных полицейскому государству.

И если в одном измерении российское общество все более либерализовалось, склонялось на путь буржуазности и гарантом этого пути было развитие не-технологических элементов, прежде всего расширение вширь и вглубь института частной собственности и постепенная эмансипация общества от государства, то в другом, параллельном измерении власть трансформировала самое себя, извлекая из окружающей действительности совершенно новые, недоступные ей до середины XIX века технологические практики.

И в этом отношении 80-е годы XIX века становятся важной вехой в движении от *царства-государства*, опиравшегося на бояр-вотчинников, затем от *государства-империи*, опиравшегося на помещиков-дворян, к новой структуре власти, основанной на бюрократическом централизме и гипертрофии карательных органов, к *полицейскому государству*.

Однако, как справедливо отмечает Пайпс, Россия после 80-х годов прошлого века была не столько состоявшимся в полной мере полицейским государством, сколько *грубым прототипом* такого государства<sup>58</sup>. Противовесом тенденции к развитию полицейского произвола было прежде всего развитие института частной собственности и соответствующих правовых норм, относительно свободная возможность вы-

езда за пределы страны, и наконец, страх перед общественным мнением Европы за проявления “азиатчины”.

Это противоречие (вместе с институтом частной собственности) было преодолено лишь после большевистской революции в России — именно в СССР процесс раздвоения техноструктуры нашел свое своеобразное завершение.

На первый взгляд может показаться, что оно осуществилось в форме раздвоения государства на собственно *государство*, *земщину* (система Советов) и *удел*, *опричнину* (исключительную сферу партийного управления) и было осуществлено не по географическому признаку, а, в широком смысле слова, по социальному: часть социального и политического пространства контролировалась исключительно партией, другая часть, как предполагалось, — государственными органами *под руководством* партии. Подобное раздвоение можно было бы квалифицировать аналогичным с опричниной образом, как технологическую утопию, если бы оно не было в значительной степени *фиктивным*.

Впрочем, на каком-то историческом отрезке это, возможно, действительно *было* эманацией утопической идеи, во всяком случае, с 1905 года, когда Ленин под воздействием событий первой русской революции пришел к выводу, что целью русских социал-демократов является не демократическая республика, а “государство типа Советов”, и вплоть до последних предоктябрьских недель (вспомним самоуправленческие контексты и смыслы “Государства и революции”). Нельзя исключать того, что подобная теория была не просто пропагандистской конструкцией, позволяющей захватить власть меньшинству и легитимировать этот захват, но, до известного момента, и самообманом, добросовестной иллюзией, утопией. Очевидно, политические коллизии периода гражданской войны и, главное, знаменательные, может быть, даже знаковые события, за рамки этой гражданской войны выходящие, такие, как крестьянское восстание в Тамбовской губернии (“антоновщина”) и восстание в Кронштадте (“кронштадтский мятеж”), очень ярко выявившие весьма различное отношение массы

российского населения к Советам как к институту власти и к большевикам как к политической силе, заставили Ленина по-иному, более трезво взглянуть на вещи и вместо химеры самоуправления, осуществляемого под руководством партии, вместо мифологической кухарки, управляющей государством под одобрительным прищуром партийных интеллигентов, профессиональных революционеров, вместо *государства-коммуны* произошел возврат к полицейскому государству, которое после этого возврата стало абсолютным, тотальным, обнимающим все общество и это общество деструктурирующим.

В действительности же раздвоение технологической машины завершилось в России уничтожением специфических механизмов власти как способа самоорганизации гражданского общества на локальном и микроуровнях. Из двух “половинок” технологической машины уцелела одна — уничтожив, “проглотив” другую; власть на микроуровнях социальности, власть в глубинах, в “складках” гражданского общества стала зеркальным отражением, копией, продолжением, оттиском, калькой, слепком с разросшихся, гиперпрофирированных макротехнологий.

### **3. Феномен “реконкисты” властного пространства**

Исторически так сложилось, что российское пространство власти вбирает в себя множество микрокосмов власти, так или иначе привязанных к “центру” и без него нежизнеспособных. Это пространство, как я уже отмечал, организовано *через-центр*, в виде звезды, и все сколько-нибудь значимые точки в этом пространстве организуют окружающее их локальное пространство аналогичным образом, также в виде звезды, превращаясь в центры второго и третьего уровня в стянутом центростремительными силами властным пространстве.

То, что пространство организовано через-центр, означает, что оно может удерживаться, контролироваться

лишь адекватной системой властных технологий, *иной* системой технологий, нежели, скажем, пространство власти “американского типа”. Это — другая мегамашина, другая модель власти.

Еще Ф.Ницше, чрезвычайно глубоко понимавший многие сущностные характеристики власти, заметил, что всякая власть есть власть лишь постольку и до тех пор, пока она “больше-власть”, *возрастающая власть*; она способна держаться в самой себе, то есть в своем существовании, только превосходя и превышая самое себя, *овладевая* всякой достигнутой ступенью власти; коль скоро власть останавливается на какой-то достигнутой ею ступени, она уже становится немощью власти, деградирует, распадается...<sup>59</sup>.

Повторное завоевание пространства может осуществляться властью в различных формах: насильственная каторжная колонизация, идущая волнами от центра к периферии; массовый, едва ли не стохастический террор, как при Сталине; покорение вырвавшейся из-под контроля революционно-анархической стихии железной волей власти, как было при подавлении кронштадтского восстания 1921 года; наконец, движение парохода “Скрябин” с тиражной комиссией государственного займа на борту...

Пример перезавоевания властного пространства — знаменитая поездка императрицы Екатерины II в недавно покоренную Тавриду, от которой в массовом историческом сознании остался миф о “потемкинских деревнях”. Между тем движение царского “поезда” по новоприсоединенным крымским землям с точки зрения самоутверждения власти мало чем отличается, например, от военного завоевания территории, а потемкинские деревни (реальные, без кавычек) как некий способ форматирования пространства равнозначны японской Башне мира или статуе вождя народов на канале Волга-Дон...

Между прочим, Ленин был незаурядным геополитиком-практиком; интуитивно он чувствовал, что и в Российской империи, и будущем государстве диктатуры пролета-

риата внутренняя структура пространства гораздо важнее, чем “внешняя” геополитика: границы и взаимоотношения с соседями. Взять власть в Петрограде, в столице, значило для него взять власть как таковую, ибо за столицей неизбежно последует вся страна. В то же время такие вещи, как утрата затопленного черноморского флота или потеря огромных территорий в результате Брестского мира, были для него тяжким, но в принципе переживаемым ударом — и время показало, что в этом смысле он был прав.

В подобной геоструктуре линия, соединяющая центр с любой точкой в пространстве власти, всегда должна быть прямой; однако эта прямая видоизменяется, отражая особенности естественного географического пространства — расположение рек, горных хребтов, контур береговой линии и т.д.; поэтому в реальности центр и разбросанные по периферии точки соединяет ломаная линия, лишь *тяготеющая* к прямой.

Итак, российская геополитика была результатом наложения технотрактуры на естественную географическую карту, где есть место морям и океанам, рекам и озерам и, наконец, границам и сопредельным государствам. И векторы естественной геополитики как бы прорезают и вносят некое разнообразие в геометрию суперцентрализованного, линейного пространства власти. И тогда такие географические (а порой — геополитические) реальности, как горные хребты, моря или крупные реки, становятся на место силовых векторов власти, как бы замещают их.

Однако по мере того, как технологическая структура власти развивается и упрочивается, геополитические вектора силы все более тяготеют к прямой, ибо лишь подобная структура в полной мере обеспечивает быстроту и эффективность власти. Примером являются железные дороги. В России, кстати, прямолинейность пути была более приоритетным фактором, нежели некие социальные (“социально обусловленные”) отклонения. Достаточно вспомнить неудачу многочисленных попыток направить трассу Петербург-Московской железной дороги через Новгород (то есть существенно

отклоняясь от прямой) и появление на карте Новосибирска в том, по сути дела, пустом, месте, которое в конце XX века проектантами Западно-Сибирской железной дороги было признано наиболее благоприятным для строительства моста через Обь.

Очень важно иметь в виду следующее: для того, чтобы создать пространство власти в России, совершенно не обязательно было осваивать *территорию*. Отряды русских землепроходцев, чаще всего казаков, продвигаясь на Восток, спускаются по одним рекам, затем поднимаются по другим, уходят из основного русла в притоки, выходят на водоразделы, пересекают их, снова передвигаются по рекам, теперь уже вниз по течению (если сначала шли вверх), достигают холодных восточных или северных морей... И при этом между двумя точками их передвижения в пространстве, начальной и конечной, остается гигантская неосвоенная территория, непроходимая и непройденная тайга... В одной работе, посвященной взаимоотношениям русских и японцев, мне даже довелось встретить утверждение:

*«В конечном счете продвижение по Сибири (русских землепроходцев. — С.К.) было продвижением от одних водных систем к другим»<sup>60</sup>.*

Это, конечно, не так, если понимать фразу буквально, но безусловно верно, если говорить о тенденции. (Вспомним здесь, кстати, известные рассуждения В.О.Ключевского о том нежном чувстве, которое русские издревле питали к реке — в отличие от леса и степи, к которым отношение было более сложным<sup>61</sup>.)

Кстати, Ф.Кафка написал однажды: “Безграничная притягательная сила России. Лучше, чем тройка Гоголя, ее выражает картина великой необозримой реки с желтоватой водой, повсюду стремящей свои волны, волны не очень высокие. Пустынная растрепанная степь вдоль берегов, поникшая трава”. Потом, видимо, усомнился в написанном и заключил: “Нет, ничего эта картина не выражает, скорее — все гасит”<sup>62</sup>.

Речная колонизация оставляет сеть колонизационных точек, анклавов на берегу, откуда движение продолжается в глубь территории. В этом смысле «речная» колонизация в России является в определенном смысле подобием прибрежной или от-бережной колонизации Северной Америки. Вместе с тем сам характер водной поверхности предполагает слабые, по сравнению с движением по суше, по *земной* поверхности, следы, колонизационные отпечатки — в этом смысле вода действительно *все гасит*. Грань между реальной и символической колонизацией пространства порой стирается.

И эта слабость следов власти делает именно движение по речным артериям обязательным способом реконкиты властного пространства, повторного утверждения в нем уже однажды завоевавшей его власти.

Механизм взаимодействия центр — периферия в пространстве власти, организованном *через-центр* и в то же время прорезанном естественными геополитическими артериями, любопытным образом отражается порой даже в некоторых, на первый взгляд знакомых до банальности, сюжетах, событиях и ситуациях.

В знаменитом романе И.Ильфа и Е.Петрова “12 стульев” пароход “Скрябин”, принявший на борт Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, движется вниз по Волге, в сторону Сталинграда и Астрахани. На борту его — тиражная комиссия, пропагандирующая идею государственного займа. Подобного рода “государственный”, официальный пароход — своего рода символ, метафора власти, почти как бронепоезд предреволюционного Троцкого (вспомним, кстати, известный текст Андрея Платонова). Заем — это метафора взаимоотношений народа и власти: власть не может существовать, не возобновляя свои ресурсы за счет народа и не истощая ресурсы этого народа, ресурсы материальные, духовные, физические, экономические, природные...

Пароход, плывущий по великой реке по направлению от центра на периферию, — это образ власти, вынужденной, чтобы сохранить свое присутствие на территории, каждый



раз завоевывать ее заново, заново маркировать ее; остановки парохода для проведения тиражей — как раз и есть форма такой маркировки пространства.

Не знаю, насколько Ильф и Петров сознавали ценность и типичность описанного ими механизма действия власти, но в “Золотом теленке” они практически воспроизводят ситуацию “12 стульев”: автопробег, в котором участвует автомобиль “Антилопа-Гну”, самонадеянно относимый его водителем к марке “лорен-дитрих”, есть абсолютный аналог перемещения парохода “Скрябин” — та же *реконкиста* уже когда-то освоенного властного пространства.

С другой стороны, когда мы узнаем, что сообразительный миллионер Александр Иванович Корейко скрылся от великого комбинатора в северном укладочном городке на трассе Турксиба, мы, независимо от того, сознаем мы это или нет, входим в ситуацию колонизации новых территорий и обращения их в пространство власти — но эта колонизация полностью воспроизводит механизмы колонизации российского пространства, отработанные в имперской России. Острог — городище — укладочный городок... Чуть позже укладочные городки сменяются лагерями, образующими “архипелаг ГУЛАГ”, еще позже — произойдет возврат к модели 20-х годов: целина, Братская ГЭС, БАМ...

Несколько иная ситуация, являющаяся как бы продолжением ситуации “Скрябина” — автопробега — укладочного городка на Турксибе, отразилась в знаменитом фильме Георгия Александрова “Волга-Волга”, снятом в 1938 году.

Здесь Река ведет не из центра на *украины* России, а из провинции — в столицу, в Москву.

Причем в этой ситуации даже не имеет значения, куда течет река, — движение вод как бы изменяется в зависимости от прихоти всесильного центра. Но движение по вектору с периферии к центру является ничем иным, как реакцией на импульс власти, идущий на периферию из центра. В фильме “Волга-Волга” это телеграмма: “*Вызываем [в] Москву...*” Все последующее движение — следствие этого импульса.

Заметим в скобках, что аналогичным образом функционирует пространство в другом знаменитом советском фильме, “Свинарка и пастух”: Москва, сельскохозяйственная выставка — периферия, причем раздваивающаяся, русская и кавказская, — и снова Москва, снова выставка...

В мае 1996 года на фоне приближающихся президентских выборов некий нижегородский бизнесмен финансирует поход трех агитационных теплоходов вверх по Волге, до Москвы (“Минин”, “Пожарский”, “Нижний Новгород”).

В столице участники акции проводят шествие по улицам из Северного морского порта к центру (почти символическая калька движения парохода внутри территории страны) и затем, в присутствии многотысячной аудитории, дается концерт рок-музыкантов на Васильевском спуске, в виду Кремлевских башен.

Как мы видим, это почти дословное повторение сюжета “Волги-Волги”, историческая, хотя, возможно, неосознанная цитата. Грань между *сюжетом* и *событием* оказывается несущественной: и то, и другое отражает реальный механизм функционирования власти в российском пространстве.

Другую знаковую ситуацию, не столько отмечающую, сколько пародирующую механизм реконкиты властного пространства, я описал некогда в своем очерке “Похвальное слово г-ну Жириновскому”, опубликованном в журнале “Архетип”. Речь шла о небезызвестном плавании парохода, зафрахтованного либерально-демократической партией, вниз по Волге летом 1994 года. Это в общем-то заурядное событие было отмечено вниманием средств массовой информации прежде всего потому, что в процессе этого плавания Жириновский дал достаточно скандальное интервью корреспондентке американского журнала “Плейбой”.

Чтобы понять глобальный контекст акции г-на Жириновского, следовало бы, в свете изложенного выше, уяснить для себя, *что* означает пароход, спускающийся вниз по Волге и имеющий на борту неких политических фигурантов, в кон-

тексте некоей традиции освоения и реконкиты властного пространства.

Достаточно очевидно, что люди на пароходе, идущем вниз по Волге, имитируют стандартные действия власти. И не столь важно, что пассажиры кают первого класса закончили не ВХУТЕМАС какой-нибудь, а Институт стран Азии и Африки, и лозунги их не прежние, оптимистические:

*«Все — на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию государственного займа»,*

а, скажем:

*«Россия в границах прежнего Советского Союза».*

Но в любом случае ретрансляция текстов власти с некоего объекта, который движется из центра к периферии государства и олицетворяет собой власть как таковую, — столь же неизбежная черта этого пространства, как и лающие в деревьях собаки.

Таким образом, движение парохода, несущего лидера ЛДПР, происходит вдоль явственно видимых властных векторов. Вероятно, одним из мотивов, осознанных или неосознанных, путешествия вниз по Волге либерально-демократического корабля и было стремление воспроизвести одну из траекторий власти и один из способов завоевания властью пространства — но в реальности этот корабль и капитан его политической команды оказались в состоянии лишь *имитировать* некие действия власти.

Более того, ситуация приобретает почти фарсовый характер: одновременно с пароходом г-на Жириновского вниз по Волге идет президентская яхта “Россия” — и г-на Жириновского задерживают, кажется, в Нижнем Новгороде. Это — крушение, но не выстроенного в Австрии четырехпалубного парохода “Александр Пушкин”, а некоего политического корабля, вдруг оказавшегося “Антилопой-Гну”...

И все же наиболее символический способ реконкиты властного пространства — авиаперелеты. В этих случаях пространство завоевывается *условно*; предполагается, что

пространство между точкой вылета **A** и точкой приземления **B** автоматически становится принадлежащим власти, от имени которой осуществляется акт присвоения. Любая утверждающая себя власть прибегает к подобному способу подтверждения собственной легитимности и состоятельности; не удивительно, что в России после 1991 года разного рода перелеты внутри и вовне пространства российской территории достаточно распространены и имеют отчетливо выраженный символический смысл. И кстати, нет ничего более символического в этом плане, чем *беспосадочный* перелет; воздух здесь становится аналогом воды, и между двумя точками движения в пространстве (превращаемого в пространство власти) вновь остается гигантская неосвоенная территория...

#### **4. Глобальные катастрофы в российском пространстве власти**

Фуко не случайно использовал для демонстрации действия дисциплинарного механизма ситуацию чумы.

*«Чумной город, пронизанный иерархией, надзором, взглядом, записью; город, приведенный в неподвижность путем экстенсивной власти, по-разному воздействующей на индивидуальные тела, — вот утопия полностью управляемого города. Чума (по крайней мере в профилактическом состоянии) — испытание, в ходе которого можно вообразимо определить отправление дисциплинарной власти. Для того, чтобы увидеть, как действуют чисто теоретические права и законы, юристы ставили себя в природное состояние. Для того, чтобы увидеть действие совершенной дисциплины, правительства мечтали о состоянии чумы»<sup>63</sup>.*

Фуко отмечает, что за дисциплинарными устройствами стоит неумолимая ненависть к “заразе”: чуме, бунтам, преступлениям, бродяжничеству, дезертирству, беспорядочно живущим и исчезающим, живущим и умирающим людям<sup>64</sup>.

Экстремальная ситуация как бы проявляет потенциал возрастания власти, когда он имеется, и в то же время обнаруживает технологическую несостоятельность, когда потен-

циал самовозрастания власти отсутствует. Развертывание несовместимых с дисциплиной явлений и процессов активизирует власть, как бы провоцирует ее (или же власть принимает позу спровоцированной), мобилизует потенциал отмеченной Фуко ненависти к “заразе” и часто делает невидимую технологическую структуру видимой.

Интересно было бы проследить, каковы особенности экстремальных ситуаций и проявления в них технологического начала в рамках российского пространства власти, которое, как уже было отмечено, имеет свою специфическую структуру, — это пространство, организованное через центр.

С ситуациями, подобными описанным Фуко в связи с эпидемиями чумы конца XVII века на европейском материале, и отчасти с технологиями, ими “проявленными”, мы встречаемся и в российской истории. Приведу некоторые примеры.

**Мор\* 1551 и 1571 годов в Новгороде и Пскове.** Вторая половина XVI века — это период, когда Москва уже утвердила себя как центр власти и де-факто и де-юре (Новгород, Псков и Рязань присоединены к Москве в конце XV — начале XVI вв.). Вместе с тем пространство еще испытывает влияние рудиментарных проявлений полицентричности эпохи удельной раздробленности. В *этом* пространстве крупные города, особенно Новгород и Псков (в период независимости даже управлявшиеся по-иному, нежели прочие русские земли), играют роль локальных центров.

Наиболее употребительными мерами, которые предпринимались на Руси против распространения заразы, были заставы и сторожа на дорогах. Однако эти заставы

---

\* Я вполне разделяю мнение Ф.Броделя о сложности распознавания характера эпидемий, “мора” и об условности употребляемых в средневековых документах терминах “чума” (которая в действительности может оказаться вирусным гриппом). (См.: *Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное.* М., 1986. С. 93-94). В контексте нашего исследования дифференциация типов эпидемий едва ли имеет решающее значение.

не предполагали абсолютного блокирования любых передвижений в рамках пространства власти, а скорее означали одностороннее, возможно, даже отражающее своеобразный эгоизм центра ограничение движения. Потенциальных носителей чумы в город не впускают. Однако при этом из города (городов) приезжих выталкивают, не заботясь особенно о последствиях для пространства-вне-города. Иными словами, центр, вокруг которого организуется пространство власти, мало озабочен возможностью распространения заразы от сердцевины властной “звезды” к ее концам. Так в 1551 году в Новгороде во время эпидемии был брошен клич, чтобы псковичи и гости (купцы) ехали тотчас вон из города со своими товарами; а тех, кого на другой день поймают в Новгороде с товаром, следовало, выведя их за город, вместе с товаром и сжечь. А если найдут псковича во дворе, то *дворника* (то есть приказчика, чаще всего из числа холопов, жившего в городском дворе, принадлежавшем монастырю) бить кнутом, а псковича сжечь. Устроена была застава на Псковской дороге, чтобы не ездили гости ни из Новгорода в Псков, ни из Пскова в Новгород. (За этими мерами, кстати, отчетливо проступают интересы местных *гостей*, которые стремятся использовать чуму для выдворения своих конкурентов.)

Аналогичным образом действовали власти во время эпидемии 1571 года. На дорогах были выставлены заставы, и тех, кто пытался проехать в город непозволительными путями, жгли. Были также выставлены заставы на улицах (почти как во Франции XVII века) и сторожа; если на какой-то улице умирал человек от заразной болезни, то двор, где это случилось, запирали, а людей, в нем запертых, кормили с улицы. Отцам духовным исповедовать *людей знаменных* не велели, а если священник станет таких людей исповедовать, не доложив боярам, то сжечь его вместе с больными. Людей, на которых было *знамя смертоносное* (то есть признаки болезни), велено было у церковей не хоронить, а хоронить в шести верстах от Новгорода<sup>65</sup>.

Однако несмотря на принятые меры в Новгороде в 1552 году умерло 279594 человека, в Пскове в 1553 году — около 25 тыс. человек...<sup>66</sup>

**Чума 1771 года.** Сходная ситуация — ужесточение дисциплины в экстремальных условиях, причем ужесточение малоэффективное (хотя и не предшествовавшее столь катастрофическим событиям, как запустение русской земли в 70-е годы XVI века или Смута) — связана с эпидемией чумы, охватившей центральную Россию и в том числе Москву осенью 1771 г. Не имея возможности обработать все источники, относящиеся к этим событиям, посмотрим, как выглядит эта эпидемия по известным запискам А.Т.Болотова (вышедшим в 1807 году). “Записки” позволяют судить не только о принятых мерах, но и об их своевременности, эффективности, да и о ментальности населения тоже. Равным образом позволяют они судить о том, ведут ли экстремальные ситуации в российском пространстве власти к кристаллизации технологий власти или попросту разрывают недостаточную прочную технологическую ткань.

В связи с тем, что территория России была организована через-центр, а Москва долгое время была этим центром и в 70-е годы XVIII века в значительной степени им оставалась, развитие эпидемии, приспособившаяся к этой структуре, копирует распространение импульсов власти (здесь вспоминаются сказанные, правда, по другому поводу, слова Валерия Подороги о том, что существуют типы властвования, о которых следует говорить не на языке исторических событий, а на языке природы, причем природы инфицированной<sup>67</sup>). Поэтому эпидемия распространяется не с юга на север, от портов, куда приходят корабли из Турции и с Востока, затем продвигаясь к центру и захватывая все новые и новые земли, а попадает с юга — в Москву, и уже из Москвы расходится во все стороны<sup>68</sup>.

Власть и население поначалу проявляют удивительное неуважение к грядущей опасности: “...ежели б зло сие и начало к нам приближаться, так успеть можно куда-нибудь и

уехать далее...”<sup>69</sup>. А пока помещики разъезжают друг к другу в гости и на церковные праздники.

Зато после осознания угрозы начинается паника. На место пренебрежения к опасности заступает апокалиптическое видение ситуации, и чума начинает восприниматься как синоним *неизбежной смерти*<sup>70</sup>.

Последнее обстоятельство крайне важно, ибо ощущение неизбежной и близкой смерти взрывает техноструктуру, основанную на культе наказания. Вероятная смерть обесценивает угрозу наказания, а более тонких и разнообразных дисциплинарных механизмов, пронизывающих систему жестких технологий, переплетающихся с ней, дублирующих ее, не оказывается. Наконец, внетехнологические средства контроля, связанные, в частности, с религией, оказываются недостаточными, ибо совесть русского человека оказывается гибкой; понятие греха и готовность этот грех совершить сосуществуют и в сознании, и в поведении человека.

То, что чумной бунт вспыхивает в Москве, также симптоматично: Москва — центр и столица допетровской Руси, утратившая свой статус в силу волевого решения Петра I; это город, на долю которого приходилось большинство крупных городских восстаний допетровских времен (в то время как в Петербурге за все время его существования происходит всего лишь одно восстание — в октябре 1917 года). Распространение чумы *через-Москву* и чумной бунт своеобразным образом подтверждают не только геополитический статус старой столицы Российской империи, но и ее статус как центра звездоподобной технологической структуры.

Власть медлительна, нерешительна, не отдает себе отчета в ситуации. Каких-либо определенных инструкций, вроде тех, что найдены были М.Фуко в Венсенском архиве, похоже, нет. Но медлительность эта связана не только с личными качествами тех или иных чиновников. Само пространство организовано таким образом, что импульсы с периферии (а именно на периферии начинается чума) к центру идут дольше, нежели от центра к периферии. И воспринимаются



эти импульсы так, как в центростремительной техноструктуре и положено восприниматься импульсам с *украин*, то есть без должной ответственности и внимания. В итоге необходимые меры принимаются с опозданием. “И Москву не прежде вздумали запретить, — замечает Болотов, — как тогда, когда было уже слишком поздно”, а “во всю сию весну и лето жили спустя рукава...”<sup>71</sup>.

Но учрежденные на въездах и выездах заставы действуют только до того времени, пока не выехал из Москвы в свою деревню московский главнокомандующий *старичок фельд-маршал* П.С.Салтыков.

Войска выведены из города в подмосковный лагерь в Мячково, полиция в прострации, в столице царит безначалие, ибо механизм власти в пространстве, стратифицированном в рамках “культуры наказания” — персонализирован. Все представители власти бросили город и разъехались по своим деревням, и естественно, меры, принятые для сдерживания чумы, рухнули, когда власти бежали.

Несмотря на смертельную опасность разрастается корыстолюбие и злодейство. Священники устраивают сборы средств и крестные ходы, за большие деньги отпевают умерших от чумы в церкви и хоронят их на церковном кладбище.

Возникает бунт, он нарастает; после первой крови появляется идея “перебить всех докторов и лекарей и всех, какие были еще, начальников...”, а потом — разграбить Кремль и сокровища Успенского и других соборов<sup>72</sup>. Что и делается, начиная с Чудова монастыря. Власти решают закрыть Кремль — выясняется, что из четырех кремлевских ворот не закрываются трое: “прочие-ж долговременная безопасность, в коей сия столица находилась, сделала к тому неспособными”<sup>73</sup>. Бунт — русский, соединяющий начала крайней и бессмысленной жестокости и инерционной религиозности. Страх Божий не покидает бунтовщиков во время самых страшных преступлений. Болотов описывает, как убивают архиерея, выведя его предварительно с территории монастыря (“...вменяя за грех осквернить монастырь...”<sup>74</sup>). (На

этом же месте впоследствии повесят *заводчиков*, то есть зачинщиков бунта.)

Наконец, бунт этот, как и любой бунт в России, вплоть до октябрьских событий 1941 года в Москве, с неизбежностью ведет к разбитию винных погребов.

Итак, власти как будто нет, но происходит любопытный казус: некий генерал Еропкин, волею обстоятельств оставшийся в столице, “ведая, что нет никого из начальников московских, кому-б об усмирении мятежа старание приложить было можно, и предусматривая, что остервеневшийся народ при одном том не останется, а прострет наглости свои далее, решился вступить самопроизвольно, хотя совсем не в свое, но крайне нужное тогда дело”<sup>75</sup>. Принимаются меры к подавлению: вместо воинской команды в составе *шести* солдат и *одного* офицера, пытавшейся поначалу защитить от погрома толпы Чудов монастырь, сколачивается отряд из немногих оставшихся в Москве воинских команд (примерно 130 человек или около того), солдаты начинают “рубить народ пьяный”, в ход идут штыки, сабли, картечь и все, что идет в ход в России при подавлении любого вспыхнувшего близ кремлевских стен бунта, а вскоре из лагерей приходит свежий полк, восемьсот человек, и бунт заканчивается полным разгромом...<sup>76</sup>

Вот эта-то самопроизвольность и заслуживает внимания — оказывается, при всей беспомощности *лиц* существует некая технологическая машина, привести которую в действие в состоянии едва ли не любой, “принявший начальство”; машину выпало запустить Еропкину, он это делает, и бунт подавляется точно так же, как подавлялись десятки русских бунтов до того. Экстремальная ситуация заставляет машину действовать беспощадно, ибо от этой беспощадности зависит уже не только благополучие власти, но и жизнь участвующих в подавлении бунта солдат. Вот как это описывает очевидец:

«Фрунт... взял работать штыком и покрыл весь мост трупами; потом пушечным выстрелом погнали их вниз и там их провозжали картечами же до самого низу...»<sup>77</sup>.

После подавления бунта из Петербурга в Москву приезжает “ближайший фаворит и тогдашний любимец” императрицы граф Григорий Орлов, показывает себя очень энергичным и деятельным администратором, “употребляет все, что только было им возможно”, пишет Болотов, — и, употребляя все возможное, сжигает случайно императорский дворец за Немецкой слободой...

Смерть призвана активизировать и выявить технологический потенциал пространства власти (что отчасти и происходит). Однако в России дисциплинарное начало оказывается слишком слабым: если во французском городе, как заметил Фуко, чума заставляет каждого застыть на своем месте — любое движение означает риск для жизни, то в России ситуация развивается по-иному. Смерть является здесь не столько дисциплинирующим началом, сколько (в отсутствие развитого поля дисциплинарных технологий) катализатором состояния безвластия, бунта, смуты. *Дисциплинирования* нет, зато есть некая обладающая способностью к регенерации в более или менее короткий срок машина, которая рубит, колет и изрыгает картечь.

Другой экстремальной ситуацией, другим типом глобальной катастрофы является голод. Впрочем, голод, безусловно являясь ситуацией экстремальной, далеко не безусловно является ситуацией неординарной. Ф.Бродель приводит характерные данные по Франции: в X веке эта *привилегированная страна* (если вообще существуют страны привилегированные) познала 10 голодовок в масштабе всей страны, в XI — 26, в XII — 2, в XIV — 4, в XV — 7, в XVI — 13, в XVII — 11 и в XVIII — 16<sup>78</sup>. Эти данные не включают сведения о локальных голодовках, которые Бродель исчисляет сотнями.

*«На протяжении веков, — пишет Бродель, — голод возвращается с такой настойчивостью, что становится элементом биологического режима людей, одной из структур повседневности»<sup>79</sup>.*

Все это в полной и даже в еще большей мере относится и к России, где климатические условия были значительно

более суровыми, нежели в Западной Европе. Остановимся подробнее на одной из самых известных исторических ситуаций голода (известной потому, что хронологически она непосредственно предвывает период Смуты, всегда вызывавший повышенное внимание историков).

*Голод 1601—1602 годов.* Вследствие длительных дождей и холодного лета 1601 года на Руси случился неурожай. Крестьяне вынуждены были использовать для посева озимых незрелые семена, которые дали плохие всходы, а затем и вовсе были погублены морозами. В 1603 году засеять поля было уже нечем, в России разразился страшный голод. Ужасы этого голода красочно описаны как русскими писателями (А.Палицын), так и иностранцами (Ж.Маржерет), которым случилось быть в России в это время, и я не буду повторять эти подробности. Цены на хлеб, по некоторым данным, выросли в 80 раз<sup>80</sup>. По некоторым данным только в Москве умерло около 120 тыс. человек<sup>81</sup>.

В контексте нашего исследования важно сказать о том, как реагировала власть на ситуацию, провоцирующую множество компонентов социальной “заразы” — бунты, разбой на больших дорогах, стихийный приток населения из ближайших уездов в Москву, бегство крестьян и холопов (“дезертирство”) от помещиков, которые не могли их прокормить (а порой и сами гнали со двора).

Чтобы обеспечить беспрепятственную доставку грузов в столицу, Борис Годунов направил отряды дворян для контроля над главными из ведущих в город дорог — Владимирской, смоленской, рязанской. В мае 1603 года сама Москва была разделена на одиннадцать округов (Кремль стал центральным округом, два округа были образованы в Китай-городе, восемь в Белом и Деревянном городах. Округа поручено было возглавить членам Боярской думы князьям Н.Р.Трубецкому, В.В.Голицыну, М.Г.Салтыкову, окольниковичим П.Н.Шереметеву, В.П.Морозову, М.М.Салтыкову, И.Ф.Басманову и трем Годуновым. Бояре вместе со своими помощниками — дворянскими головами — со-

вершали регулярные объезды в ставших зоной их ответственности кварталах<sup>82</sup>.

Далее: по всему государству были разсланы чиновники с целью выявления хлебных запасов (исторический прообраз знаменитой продразверстки?). Последнее — выявление запасов — означает типичный способ самоутверждения центра и реконксты властного пространства при помощи технологий, которые в ординарных ситуациях не применяются. Это можно сказать и о “социальной” политике правительства, ранее невиданной<sup>83</sup>: Годунов приказал продавать народу хлеб по твердым и достаточно умеренным ценам (при этом значительная часть хлеба попала в руки спекулянтов). (Нарушая хронологию, замечу в скобках, что если посмотреть на события эпохи “военного коммунизма” 1919—1920 гг. через призму более ранних попыток власти справиться с ситуацией голода, то станет очевидной первичность в возникновении этой модели не идеологических прожектов, а именно технологических императивов.)

Все предпринятые Годуновым меры не только не решили проблемы голода, не только не смогли воспрепятствовать разрывам технологической ткани и “заразе” бунта и разбоя, но стали прелюдией к периоду Смутного времени, когда в России власть была слаба настолько, насколько она не была слаба, пожалуй, никогда в российской истории.

С чем это было связано? Прав был М.Н.Покровский, когда заметил по поводу мер правительства Годунова для помощи голодающим:

*«Предприятие оказалось выше технических средств тогдашней администрации»<sup>84</sup>.*

Покровский писал и о другом, а именно о том, что помощь голодающим была сосредоточена в городах, где скапливалась масса нуждающихся, что вело, в свою очередь, к дальнейшему взвинчиванию цен и обострению голода. Это действительно было так. Известный авантюрист Ж.Мажерет, проведший многие годы на русской службе, писал, что

царь Борис приказал ежедневно раздавать милостыню всем бедным, и отовсюду народ побежал в Москву, даже те, у кого было на что жить.

*«В конце концов Борис, узнав, что все бегут в Москву, чтобы в Москве умереть, и что страна мало-помалу начала обезлюдеть, приказал больше ничего им не подавать; с этого времени стали находить их на дорогах мертвыми и полумертвыми...»<sup>85</sup>.*

Позволю себе предположить, что неэффективность мер, предпринятых в Москве в 1602—1603 годах, была предопределена тем, что жесткие и экстренные технологические акции вводились внутри централизованного фрагментарного пространства, *локуса*, и не были сопряжены с жесткой локализацией населения на всем властном пространстве. Но подобное пространство “работает”, нормально функционирует только в том случае, если центр служит именно организующим *центром*; если же пространство власти начинает сжиматься, стремясь обратиться в точку, совпасть с центром власти, то техноструктура рушится. Наблюдается нечто противоположное тому, что имело место в период возвышения Москвы, когда, по выражению Н.В.Станкевича, происходило *превращение центра в окружность*, в сущности, идет обратный процесс. Технологическая машина, дееспособная только до тех пор, пока она функционирует как *пространственная* машина, оказывается не в состоянии действовать в условиях ограниченного и переполненного людьми пространства. Если чума провоцировала отлив населения из Москвы, движение от центра на периферию, то голод, напротив, повлек за собой наплыв людей в столицу, к реальным или воображаемым царским запасам... Подобное сжатие пространства власти стало возможным потому, что крестьянство не было локализовано; крепостная система только вступала в завершающий этап своего формирования (первые Юрьев день был отменен лишь в 1581 году). Той *неподвижности*, которую призвана обеспечить дисциплинарная власть в “чумном городе”, в Москве времен Годунова не было и в помине. Москва была наводнена беженцами, дороги —

разбойниками... Помещики же не столько стремились войти в контакт с властью в целях обеспечения подобной локализации (что предполагало и определенную ответственность перед властью), сколько, по-видимому, делали ставку на невероятную в условиях голода дешевизну рабочих рук и использовали возможность прогнать крестьянина после окончания полевых работ в уверенности, что весной столь же дешево можно будет получить новых работников<sup>86</sup>. Оказалось, технологии “среднего уровня” не работают должным образом в ситуации, когда глобальное пространство власти в целом должным образом не структурировано технологически, а существуемая структура деформирована.

**Голод 1932—1933 годов.** В нашем XX веке, породившем различные виды тоталитарной власти, последняя часто стремилась выйти за пределы мечтаний о *состоянии чумы* и искусственно создавать, провоцировать эти состояния. Это можно сказать, например, о голоде 1932—1933 года на Украине, разразившемся при действенном организующем участии власти. В отличие от голода 1921 года в Поволжье, когда правительство доставило в голодающие районы значительное количество хлеба и семян, приняло помощь Запада и т.д., в тридцатые годы советское правительство не только не помогло голодающим губерниям, но продолжало в значительных количествах вывозить зерно за границу. Голодающие районы были блокированы заградительными отрядами, которые пресекали попытки тех, кто еще мог самостоятельно передвигаться, добраться до железной дороги и выехать из обреченных на вымирание деревень...<sup>87</sup>

Причем механизм отсечения был тот же, что и в период эпидемий: пресекались векторы движения с периферии в центр. Летом 1933 года попасть, скажем, из Рязани в Москву было проблемой: в Рязани стоял специальный кордон для проверки документов и в Москву пропускались только те, у кого был московский паспорт или служебная командировка<sup>88</sup>. Таким образом, *эта* власть оказалась гораздо более умелой в организации пространства, нежели, скажем, Годунов,

при котором Москва была наводнена пришлыми людьми; однако критерием оценки этой «умелости» является не помощь голодающим или спасение их от голода и не стремление спасти тех же москвичей — тоталитарная власть действует в логике обеспечения своего выживания, и именно в этом она оказалась выше Гудунова.

Но еще более существенно иное: ситуация голода в тоталитарном государстве реанимировала в новом качестве прежние технологии локализации — в декабре 1932 года было принято новое положение о паспортах; значительная часть населения страны, прежде всего население сельское, оказалась жестко зафиксированной в местах своего проживания.

Даже если предположить, что власть не стремилась к достигнутым ею страшным результатам, то явным образом рассчитывала на создание на фоне голода предельно жесткой системы дисциплинарных технологий (как уже говорилось, вплоть до оцепления района бедствия войсками — как будто речь шла не о голоде, а об эпидемии заразной болезни).

В Европе и Америке XX века власть сохранила способность обращаться к жестким технологиям, осуществлять, если можно так выразиться, процесс автогипертрофии в экстремальных обстоятельствах, прежде всего в условиях голода, эпидемий, войн (примеры — Англия и США в период второй мировой войны; последние, кстати, освоили практику помещения в концлагеря американцев японского происхождения). Однако власть, довлеющая над обществом в экстремальных ситуациях, возвращалась к норме с исчерпанием этих ситуаций. В СССР же состояние властных технологий, характерное для экстремальных обстоятельств, становилось нормой. Катастрофальные потрясения использовались как своеобразное *орудие нормализации*, точнее, средство смещения черты нормализации в том смысле, в каком употребляет это понятие В.А.Подорога<sup>89</sup>. Экстремальные обстоятельства, в свою очередь, стали единственной ситуацией, в которой власть была способна создать гарантии собственного выживания.



В России/СССР войны, напротив, часто приносили определенное смягчение (некий сознательный акт власти) или ослабление (стихийный, неконтролируемый результат) довоенных технологий власти: так было, например, в ходе Отечественной войны 1812 года, так было и в годы Великой Отечественной войны (этот дух патриотизма и свободы отражен, в частности, в знаменитом романе В.Гроссмана “Жизнь и судьба”). Такие же события, как голод и эпидемии, проверяющие власть на прочность, нередко приводили к разрывам технологической ткани и проявляли технологическую недостаточность власти.

- 
- <sup>1</sup> *Ключевский В.О.* Соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1956. С. 31.
  - <sup>2</sup> Там же.
  - <sup>3</sup> *Герцен А.И.* Соч.: В 9 т. Т. 8. М., 1958. С. 295.
  - <sup>4</sup> *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. М., 1990. С. 550.
  - <sup>5</sup> *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках. С. 178.
  - <sup>6</sup> *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. VII. М., 1988. С. 49.
  - <sup>7</sup> Там же. С. 44–45.
  - <sup>8</sup> *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 23.
  - <sup>9</sup> *Бондаренко О.* Неизвестные Курилы. Серьезные размышления о статусе Курильских островов. М., 1992. С. 170.
  - <sup>10</sup> *Герцен А.И.* Соч.: В 9 т. Т. 8. С. 135.
  - <sup>11</sup> *Сахаров А.М.* Города Северо-Восточной Руси XIV–XV вв. М., 1960.
  - <sup>12</sup> *Мурхед А.* Дорога через безмолвие. Трагическая история экспедиции Берка. М., 1988. С. 5.
  - <sup>13</sup> Там же. С. 12.
  - <sup>14</sup> Там же. С. 13.
  - <sup>15</sup> Там же. С. 10.
  - <sup>16</sup> Там же. С. 27.
  - <sup>17</sup> *Мери Л.* Мост в белое безмолвие. М., 1984. С. 267–273.
  - <sup>18</sup> *Хайдеггер М.* Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 314.
  - <sup>19</sup> *Столыпин П.А.* Нам нужна великая Россия... // *Столыпин П.А.* Полн. собр. речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911. М., 1991. С. 122.
  - <sup>20</sup> Там же.
  - <sup>21</sup> Там же. С. 128.

- 22 Это отмечают, хотя и с различными интонациями, весьма различные исследователи — см., например: *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. I. М., 1990. С. 207; *Ключевский В.О.* Сочинения. Т. II. С. 22; *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках. С. 472, 474, 511–512; *Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 86–87.
- 23 *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях. Кн. I. С. 172. О том же писал и Кавелин. См.: *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 45.
- 24 *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях. Кн. I. С. 173–174.
- 25 Костомаров пишет: “В земли рязанскую, муромскую и суздальскую явились татарские численники, ставили своих десятников, сотников, тысячников, темников...” (*Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях. Кн. I. С. 165).
- 26 *Тихомиров М.Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси. XI–XIII вв. С. 270; *Феннел Дж.* Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М., 1989. С. 158.
- 27 *Покровский М.Н.* Избр. произведения: В 4 кн. Кн. 1. С. 177.
- 28 См.: *Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. С. 290.
- 29 *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. II. М., 1988. С. 143–144.
- 30 См., например: *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях. Кн. I. С. 167–168.
- 31 См., например: Там же. С. 168.
- 32 *Юрганов А.Л.* Удельно-вотчинная система и традиция наследования власти и собственности в средневековой Руси // Отечественная история. 1996. № 3. С. 108–109.
- 33 Там же. См. также: *Федоров-Давыдов Г.А.* Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. С. 54.
- 34 *Юрганов А.Л.* Удельно-вотчинная система и традиции наследования власти... С. 109.
- 35 *Гумилев Л.Н.* От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1992. С. 296.
- 36 *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 161.
- 37 *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях. Кн. I. С. 167.
- 38 *Тойнби А.Дж.* Постигание истории. М., 1991. С. 140.
- 39 *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства. С. 223.
- 40 Там же. С. 246.
- 41 Там же. С. 250.
- 42 *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. 1. С. 320; *Соловьев С.М.* Соч. Кн. IV. М., 1989. С. 56.
- 43 *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. 1. С. 305.

- 44 См.: *Эйдельман Н.Я.* “Революция сверху” в России. М., 1989. С. 38.
- 45 *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. 1. С. 256.
- 46 Там же.
- 47 Там же.
- 48 Послания старца Филофея // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984. С. 440, 452.
- 49 Сочинения Ивана Семеновича Пересветова // Там же. С. 621; *Зимин А.А.* И.С.Пересветов и его современники. М., 1958. С. 277.
- 50 См.: *Егоров Д.* Идея “турецкой реформации” в XVI веке // Русская мысль. Кн. VII. М., 1907; подробнее см.: *Зимин А.А.* Указ. соч. С. 276.
- 51 *Зимин А.А.* Указ. соч. С. 356.
- 52 Там же. С. 359.
- 53 Сочинения Ивана Семеновича Пересветова. С. 608.
- 54 Там же. С. 620.
- 55 *Паинс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 394.
- 56 Там же. С. 406.
- 57 *Подорога В.А.* Власть и познание. С. 250.
- 58 *Паинс Р.* Россия при старом режиме. С. 409.
- 59 Такова интерпретация идей Ницше, данная Мартином Хайдеггером. См.: *Хайдеггер М.* Время и бытие. М., 1993. С. 65-66.
- 60 *Накамура С.* Японцы и русские. Из истории контактов. М., 1983. С. 30.
- 61 *Ключевский В.О.* Сочинения. Т. I. С. 68-69.
- 62 *Кафка Ф.* Америка: Роман; Процесс: Роман; Из дневников. М., 1991. С. 545-546.
- 63 *Фуко М.* Надзирать и наказывать. С. 53.
- 64 Там же. С. 53.
- 65 *Соловьев С.М.* Соч. Кн. IV. С. 56.
- 66 Там же.
- 67 *Подорога В.А.* Бессознательное власти. С. 65.
- 68 Из воспоминаний А.Т.Болотова // Столетье безумно и мудро. Век XVIII. М., 1986. С. 425.
- 69 Там же. С. 426.
- 70 Там же. С. 428.
- 71 Там же. С. 426.
- 72 Там же. С. 441.
- 73 Там же. С. 442.
- 74 Там же. С. 440.
- 75 Там же. С. 442.
- 76 Многие заслуживающие внимания подробности событий содержатся в свидетельстве Ф.В.Каржавина, служившего в экспедиции крем-

- левских строений. — См.: Записки очевидца о чумном бунте в Москве в 1771 году. Публ. С.Р.Долговой // Сов. архивы. 1976. № 6.
- 77 Записки очевидца о чумном бунте. С. 69.
- 78 *Бродель Ф.* Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. С. 88.
- 79 Там же. С. 87.
- 80 *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. 1. С. 352.
- 81 См.: *Маржерет Ж.* Состояние Российской империи и великого княжества Московии // Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 263.
- 82 См.: *Скрынников Р.Г.* Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1987. С. 50-51.
- 83 ...Но применявшейся позже. Так, в том же XVII веке, а точнее в 1663 году, после того, как правительство стало выпускать медные деньги, которые ходили по цене серебряных, и деньги стали падать в цене, а продукты резко возроджали, были изданы указы, запрещающие поднимать цены на необходимые предметы потребления. Указы эти, естественно, не возымели действия, финансовая система рушилась, и дело закончилось известным медным бунтом (См.: *Соловьев С.М.* Сочинения. Кн. VI. С. 186).
- 84 *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. 1. С. 352.
- 85 *Маржерет Ж.* Состояние Российской империи и великого княжества Московии. С. 263. Записки Маржерета, очевидно, послужили источником для С.М.Соловьева (см.: *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. IV. М., 1989. С. 388).
- 86 *Покровский М.Н.* Избранные произведения: В 4 кн. Кн. 1. М., 1966. С. 352.
- 87 См., например: *Антонов-Овсеенко А.В.* Сталин и его время // Вопр. истории. 1989. № 3. С. 120-121.
- 88 Незапечатленный труд: из архива В.Н.Фигнер // Звенья: Ист. альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 456.
- 89 См.: Искусство кино. 1994. № 11. С. 50.

# ГЛАВА III

## ТЕХНОЛОГИИ ВЛАСТИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ\*

### 1. Понимание геополитики

Когда я говорю о геополитическом пространстве и геополитических контекстах бытия власти, я подразумеваю, *во-первых*, некие естественные (при этом *глобальные*, определяющие) константы географического пространства, оказывающие более или менее серьезное воздействие на формирование макрокосмов власти и глобальных социальных структур, а также на вектор их развития. К факторам геополитики в этом смысле слова относятся естественные условия освоения того или иного пространства властью или государственной властью — соотношение территории (суши) и морской поверхности, расположение рек, горных хребтов и т.д. Все эти факторы оказывают чрезвычайно существенно воздействие на историческое развитие тех или иных этносов или государств — вспомним хотя бы то, что А. Тойнби писал о роли рек в противодействии натиску кочевых монгольских племен на Русь<sup>1</sup>.

*Во-вторых*, с понятием геополитики я связываю некие корреляции и механизмы взаимодействия объектов физической географии или, если можно так сказать, элементов географического пространства, ставших естественной основой определенных социальных, например государственных или властных, структур, с иными сравнимыми с ними, аналогичными

---

\* Глава подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках исследовательского проекта “Россия на рубеже тысячелетий: цивилизационный и геополитический прогноз”.

им по своей природе объектами (остров тяготеет к континенту; великая сухопутная держава обладает потенциалом, позволяющим ей освоить однородное пространство суши до его естественной, например водной, границы; колонизируемая территория слишком удалена от метрополии для того, чтобы быть включенной в ареал ее воздействия, и т.д.).

Скажем, геополитически, вне зависимости от того, кто контролирует континентальный Китай, Тайвань входит в зону геополитического влияния последнего, Фолкленды — в зону геополитической радиации Аргентины. Куба, несмотря на сложные трансконтинентальные политические и стратегические комбинации, приведшие мир в 1962 году на грань ядерной катастрофы, тем не менее с точки зрения естественной геополитики не имеет ничего общего с СССР/Россией.

*В-третьих*, речь идет об определенном способе структурирования и маркировки *физического* пространства многослойным комплексом социальных (в широком смысле) воздействий: экономических, политических, военных, демографических и т.д. (держава контролирует морские коммуникации; в стране значительна доля населения, представляющая титульный этнос другого государства; некий регион в сырьевом отношении зависим от другого региона или, напротив, является сырьевым придатком и т.д.).

Образно говоря, если бы мы относились без предубеждения к громоздким терминам, можно было бы говорить о гео-геополитике и социо-геополитике как двух полюсных подходах к осмыслению геополитических реалий.

Технологическая структура — технологические водоразделы, невидимые границы, ограничивающие действие технологий власти, и т.д. — как бы накладывается на географическую карту, обращая реальное, физическое пространство в пространство власти, и, в частности, накладывается на те или иные геополитические зоны, соотносит себя с ними, но это соотношение, эта корреляция — относительна, и пространство власти, структурированное технологически, может совпадать и не совпадать с территорией государства и

геополитическим пространством. Причиной тому может быть как недостаточность, слабость технологической структуры, так и воздействие каких-либо сверхзначимых, ломающих геополитическую логику политических факторов (ситуация Тайваня, Фолклендских островов, Израиля, искусственное с геополитической точки зрения разделение Германии или Кореи и т.д.).

Или ситуация иного рода — Панама, разрезанная на две части знаменитым каналом и *зоной* канала, контролируемой Соединенными Штатами; причем в течение долгого времени переместиться из одной половины разрезанной надвое страны в другую можно было лишь с согласия американской администрации.

Можно сказать, что гипотетическая геополитическая карта — это определенного рода подвижное, “естественно-искусственное” разделение реальной земной поверхности на зоны влияния различных политических и иных *субъектов*, реальных и *потенциальных*, и разграничение этих зон в соответствии, с одной стороны, с императивами физической географии, а с другой — с политическими, экономическими, демографическими и социокультурными реальностями.

Как видно, предлагаемое понимание геополитических реальностей весьма слабо связано с политикой и практически не имеет отношения к идеологическим, культурным или ментальным факторам.

Между тем существует известная школа “традиционной” геополитики, представленной такими именами, как Фридрих Ратцель (1844—1904), Рудольф Челлен (1864—1922), Хэлфорд Джон Макиндер (1861—1947), Карл Хаусхофер (1869—1945); в ряду видных геополитиков следовало бы, вероятно, назвать и одного из идеологов консервативной революции в Германии Карла Шмитта (1888—1985). В рамках этой школы геополитика рассматривается как синтез политической стратегии, идеологии и некоторых метафизических проявлений, вроде национального духа. Едва ли можно категорично отнести школу геополитиков к полити-

логии или, скажем, философии политики. Скорее речь может идти о некоей междисциплинарной исследовательской (и идеологической) традиции, имеющей собственный язык и, я бы сказал, свой собственный “дух”, посыл, ментальную ангажированность.

А.С.Панарин достаточно обоснованно говорит о *геополитическом типе сознания*, представляющем альтернативу сознанию цивилизационному. Этому типу сознания присуще ощущение состояния мира как войны всех против всех, где никому не гарантировано жизненное пространство, презумпция всеобщего недоверия, философия “закрытого”, “разорванного” пространства, ревизия принципов Просвещения с позиций органицизма, социал-дарвинизма и “дионисизма”, наконец, вытеснение христианской парадигмы духа, связанной с представлением о перерешаемости человеческой судьбы, натуралистической неоязыческой парадигмой “тела” и т.д.<sup>2</sup>. Я полагаю также, что в работах А.С.Панарина, наряду с критикой презумпций геополитического сознания, выявлен также определенный аналитический потенциал геополитического подхода и предпринята достаточно состоятельная попытка современного, “цивилизованного” использования исследовательского инструментария и понятийного аппарата традиционной геополитической школы<sup>3</sup>.

Казалось бы, если мы исходим из презумпции того, что философский подход к геополитическим реальностям предполагает прежде всего анализ в духе обозначенной М.Хайдеггером необходимости “увидеть собственную суть пространства”, понять пространство, исходя из него самого, то следует признать известную обоснованность категорических императивов и профетических амбиций адептов геополитической школы, ведь для них пространство — причина причин, основа бытия, все остальное — следствия. Однако Хайдеггер вовсе не был так прямолинеен и одномерен в интерпретации пространства “исходя из его собственной сущности”. События, происходящие в того или иного рода пространстве, некие материальные, внеприродные объекты,



существующие в рамках этого пространства, не могут трактоваться прямолинейно, как эманация этого пространства. В просторе дает о себе знать и вместе с тем таится событие, но это не некое кумулятивное событие, вмещающее все события, происходящие в рамках пространства, — это событие простора, это некое взаимодействие (простор *уступает, допускает, готовится*) с вещами, от которых оказывается зависимым человеческое обитание<sup>4</sup>. Некоторые комментаторы Хайдеггера угадывают здесь некую амбивалентность. Так В.В.Бибихин и Р.А.Гальцева отмечают, что немецкий философ, порицая “возрожденческое” миропонимание за монотонность пространственного восприятия, за безликость пространственных представлений и полагая, что этот порок должен быть вскрыт, исходя из имманентного рассмотрения пространства, эту задачу, оставаясь в рамках заданных им самим “правил игры”, не решил. Ибо мысль Хайдеггера о том, что источник пространственной разнокачественности есть наличие в пространстве “мест” и их связи с “вещами”, выходит (и выводит нас) из сферы пространства в сферу, так сказать, материи. “Для того, чтобы пространство получило свой лик, — замечают они, — в дело вмешивается вещественность, и в том числе атрибуты человеческого бытия”<sup>5</sup>. Очевидно, ощущения того, что помимо пространства существует еще и какая-то иная “материя”, не находящаяся с этим пространством в отношении прямой субординации, и не хватает представителям “геополитической школы”...

Однако глобальная политическая стратегия, так занимающая умы сторонников традиционного геополитического анализа, как уже было сказано, находится за пределами научных интересов автора данной работы. Так что когда я использую термин “геополитика”, я вкладываю в него очень узкий и неполитизированный смысл; речь никоим образом не идет о конфигурации государств и континентов в рамках глобальных политических проектов и стратегий, о взаимодействии осей и диагоналей, о противоположности Суши и Моря (“разбойников Суши” и “разбойников Моря”) и веч-

ном антагонизме *талассократии* и *теллурократии*, о динамике параллелей и меридианов, об императивности типов ландшафтов (горы, степь, пустыня, лес и т.д.) или иных аналогичных материях. Скорее речь идет о неких естественным образом обусловленных пределах воздействия радиации власти (с которыми, кстати, власть может считаться или не считаться), причем естественными границами считаются те, в рамках которых могут нормально функционировать доминирующие техноструктуры.

## 2. Российская геополитика, технологическая интерпретация

### *Геотехнологическая карта: зазоры между линиями*

Предметом анализа при таком подходе оказывается, следовательно, не взаимодействие сил, расположенных “по разные стороны границы”, представляющих разные конгломерации держав и этносов; в контексте нашего исследования существенно лишь то, что происходит “по эту сторону границы”, в более или менее гомогенном пространстве власти. И в этом контексте особенно интересно исследовать зазоры, промежуточные пространства, возникающие между *границами государства* (имеющего одним из своих признаков определенную территорию), *пространством власти* (то есть территорией, стратифицированной посредством своеобразного наложения на нее техноструктуры) и естественным *геополитическим* ареалом, в соответствии с которым складываются государственные границы. Карта, зафиксировавшая три упомянутые выше пространства, была бы испещрена причудливо извивающимися, но редко где переплетающимися линиями, образующими три замысловатые плоские фигуры, в норме находящиеся, подобно матрешкам, одна внутри другой, а именно контур государственной границы внутри контура, намечающего сферу геополитического влияния, а кривая, обозначающая зону действия тех-

ноструктуры, пространство власти, — внутри контура территории и, следовательно, также внутри сферы геополитических влияний. Однако существуют отклонения от нормы, исключения, они-то часто и дают возможность понять механизм кумулятивного действия этой гипотетической трехуровневой мегамашины.

Поясню сказанное на примере. В XVII—XIX вв. Россия, как известно, вела почти непрерывные войны с Турцией, постепенно продвигаясь на юг, к Черному морю. В царствование Екатерины II в ходе двух военных кампаний были завоеваны и присоединены к России сначала северный берег Черного моря, а затем и Крым.

Можно объяснять логику этого движения на Юг, исходя только из логики взаимоотношения великих держав и принципа безопасности внешних границ, можно также апеллировать к неким социально-экономическим детерминантам. Всего этого тем не менее недостаточно. Действительно, зададимся вопросом: могла ли нормально функционировать технологическая структура имперской России в ситуации, когда юг государства принадлежит Османской империи? Могут ли в этой ситуации быть осуществлены в полном объеме глобальные технологические операции в центральных губерниях, принадлежащих России на протяжении столетий? Например, операции локализации, жизненно важные для организованного *через-центр* пространства с редким населением? Ответ скорее всего будет отрицательным. И дело не только в давлении с юга Османской империи. Не менее важно, что на границе владений Порты и России на протяжении столетий существует некая буферная зона, формально принадлежащая России, но при этом служащая барьером на пути распространения технологий власти: Запорожская Сечь, резервуар для беглых крестьян и холопов, матрицы *антивластного* сознания вроде знаменитого “с Дону выдачи нет” и т.д. Пребывание Порты на южных рубежах империи давало казачьим регионам право на существование — без них нельзя было гарантировать проч-

ность ситуативных, исторически преходящих, ущербных, не привязанных к естественным рубежам границ государства.

Кстати, в истории России была определенная видимая линия, разделяющая крайны империи, земли, включенные в ее границы, но не структурированные полностью властью, не освоенные до конца технологически, и (используя один из любимых терминов традиционной геополитики) *heartland*, сердцевину пространства, “центр” государства — подобной линией была знаменитая *засечная черта*.

Завоевание Юга и вытеснение Порты с южных рубежей было жизненно важно прежде всего для функционирования системы власти, техноструктуры России *в целом*. Не случайно с идентификацией границ империи с естественными геополитическими рубежами в России прекращаются дестабилизирующие власть социальные движения типа восстаний Разина или Пугачева. Вытеснение внешнего врага дает, таким образом, возможность распространить техноструктуру на все потенциально целостное географическое пространство, сделать пространство власти непрерывным и, в пределах видимого, *бесконечным*.

Наконец, по-видимому, неслучайно история, обеспечив Российской империи нечто, насущно необходимое с точки зрения власти, *власти как системы технологий*, — а именно проведение сухопутной границы по северному побережью Черного моря — в то же время неоднократно отворачивалась от нее, когда вставал вопрос об амбициях *власти политической*, великодержавной. Прежде всего, когда в очередной раз возникал вопрос об обретении Россией Константинополя (*Царьграда*) как о некоей символической точки, дающей Российской империи стержень и новый импульс развития как наследнице и восприемнице *Второго Рима*, осуществляющей некую историческую миссию, или даже о контроле над Проливами, более прагматической, военно-стратегической задаче. Хотя в известные моменты Россия как будто была близка и к тому (1877—1878 годы), и к другому (период первой мировой войны). Тем не менее, весьма

значительные усилия, которые предпринимала Россия для того, чтобы резко раздвинуть зону своего геополитического влияния, выдвинуть ее далеко за те пределы, которые были определены естественными границами (в том смысле, в каком писал о них Ключевский<sup>6</sup>), успехом не увенчались ни при Екатерине, ни при Николае II, ни при Временном правительстве, ни до, ни даже после второй мировой войны.

Присвоенное властью пространство стратифицировалось в России весьма своеобразным способом. М.Н.Покровский отмечал как примечательный факт, что завоеванная во времена Грозного Казань тут же сделалась местом ссылки, “суррогатом теперешней Сибири” (слова эти написаны в 1910 году)<sup>7</sup>. И впоследствии значительный поток поселенцев втягивало в себя пространство каторги — до Октябрьской революции, а ГУЛАГа — после. Геополитические приращения немедленно структурировались в соответствии с этой моделью.

Связь *геополитики* и *техноструктуры*, иными словами, связь и взаимоотношения пространства геополитического и пространства технологического отчетливо проявилась в ситуации борьбы России/СССР и США за остров Врангеля. Американцы в свое время вынашивали идею сохранить этот остров, находящийся у северного побережья России и в то же время отстоящий от Аляски лишь на какие-нибудь 400 км, как геополитический казус наподобие Фолклендов или Тайваня. Один из организаторов американских акций вокруг острова Врангеля в 20-х годах нашего века высказывался следующим образом: “Мы хотим иметь остров Врангеля для развития воздушных путей, чтобы он был базой для дирижаблей и самолетов точно так же, как Фолклендские острова служат базой наших кораблей и крейсеров...”

Примечательно также, что попытка осуществить на острове Врангеля эрзац-колонизацию, акцию переселения наподобие организуемых властью в российском пространстве на протяжении многих веков (хотя и в незначительных по сравнению с российскими масштабах) — переместить на

остров колонию из тринадцати эскимосов и одного белого американца и тем самым маркировать данную территорию как пространство, входящее в сферу геополитического контроля Соединенных Штатов, оказалась неудачной.

Однако за своеобразной “конвертацией” естественных геополитических водоразделов в границы государственной территории и депортацией малочисленной группы американских колонистов (в середине 20-х годов нынешнего века) немедленно последовала организация на острове лагеря, то есть остров стал частью *Архипелага ГУЛАГа*. Иными словами, введение территории в орбиту определенным образом организованной власти означает структуризацию этой территории в соответствии с законами данной техноструктуры.

Нечто подобное, замечу, произошло с Прибалтикой накануне второй мировой войны.

### *Москва — Петербург: центр геополитический и центр технологический*

До петровских реформ геополитический центр и центр пространства власти в России совпадали. Перенос столицы в Петербург разделил эти две реальности: Москва по-прежнему осталась геополитическим центром, Петербург стал центром власти, технологическим центром. Перемещение столицы из Москвы в Петербург — это объективно попытка реорганизации пространства власти “по американскому образцу” — *центр-на-побережье* (хотя, естественно, Петр не мыслил в таких категориях) или, по крайней мере, создание некоей гибридной модели. Естественно, что в ситуации, когда пространство власти на протяжении столетий формировалось путем колонизации, механизм которой значительно отличался от колонизации американской, эта акция неизбежно должна повлечь за собой весьма неоднозначные последствия.

Мало читаемый и мало почитаемый в последние годы К.Маркс в не столь известной работе “Разоблачения дипломатической истории XVIII века”, опубликованной у нас

только в 1989 г. (возможно, вследствие ее отчетливо выраженной антирусской направленности), высказывает любопытные соображения по поводу переноса столицы империи из Москвы в Петербург:

*«В отличие от Москвы Петербург был не центром расы, а местопребыванием правительства, не результатом длительного труда народа, а мгновенным созданием одного человека, не центром, определяющим свойства континентального народа, а морской окраиной, в которой они теряются, не традиционным ядром национального развития, а сознательно избранным местом для космополитической интриги. Перенесением столицы Петр порвал те естественные узы, которые связывали систему захватов прежних московитских царей с естественными способностями и стремлениями великой русской расы. Поместив свою столицу на берегу моря, он бросил открытый вызов антиморским инстинктам этой расы и низвел ее до положения просто массы своего политического механизма»<sup>8</sup>.*

На какое-то время Петербург стал для России своеобразным “внутренним” аналогом “внешнего центра”, то есть не четвертым (после третьего, Москвы) Римом, а “вторым Сараем”, если вспомнить, как именовалась столица Золотой Орды. В то же время он оказался и своего рода “Арбатом-на-Неве”, если иметь в виду противостоявший Кремлю опричный двор Ивана Грозного.

Замечу, что именно в связи с отделением центра власти от геополитического центра в России создается первая мегамашина (а мэмфордском смысле слова): я имею в виду строительство Петербурга. Вторая аналогичная машина возникает, как мне кажется, лишь в XIX веке и тоже не безотносительно коллизии Петербург — Москва, а именно в связи со строительством Петербург-Московской железной дороги.

Причем если о масштабах работ по возведению северной столицы в начале XVIII века мы достоверно судить не можем, то по железной дороге есть определенные конкретные данные: объем земляных работ составил около 46 млн.

кубометров и выполнены они были в основном вручную<sup>9</sup>. Таким образом, по масштабу работ петербург-московский проект вполне сопоставим с материальными памятниками, возведенными при помощи мегамашин древности, а если учитывать также и способ сцепления людей властью в коллективное тело, то его, очевидно, можно в какой-то степени рассматривать как некий аналог трудовых машин Древнего Египта и Месопотамии. Хотя это уже не человеческая машина в чистом виде, а та машина, где, по выражению Мэмфорда, детали из плоти и крови были *частично* заменены более надежными механическими деталями<sup>10</sup>.

Вопрос о возвращении столицы в Москву вновь возникает после смерти Петра I. Император Петр II большую часть своего непродолжительного царствования провел в Москве (где и умер); в Москву в это время перебрались все центральные учреждения, включая монетный двор; под страхом строжайшего наказания запрещалось говорить об обратном переезде двора в Петербург. Восстановление статус-кво было выгодно большинству помещиков, владевших имениями в основном в центральной губернии и получавших из имений многое из того, что им было необходимо для жизни в столице<sup>11</sup>.

Тем не менее Петербург сохранил свой обретенный при Петре статус, хотя это было обусловлено мотивами весьма далекими от тех, которые побудили Петра перенести столицу государства на северо-запад.

Историки государственной школы (например, С.М.Соловьев) немало сделали для того, чтобы обосновать правомерность, целесообразность и неизбежность перенесения столицы из Москвы в Петербург и едва ли не благодатность этого шага для Москвы<sup>12</sup>. Однако они, естественно, не в состоянии были заглянуть в будущее и представить себе угрозу захвата Петрограда в 1918—1919 годах или страшную Ленинградскую блокаду 1941—1944 годов...

Следует сказать, что это двусмысленное разъединение геополитического центра, “центра государства”, со столицей, центром политическим и технологическим, сре-



дотоцием власти, остро и порой болезненно ощущалось в России; предпринимались посильные меры для смягчения этого конфликта. Достаточно сказать, что создатели проектов строительства Петербург-Московской железной дороги в качестве одного из резонансов указывали на возможность как бы “подсоединить” географическую (геополитическую) структуру, имевшую своим центром прежнюю столицу государства, Москву, к сравнительно новому центру власти — Петербургу. В частности, отмечалось, что постройка дороги в числе прочего поможет осуществить “полезное для Петербурга сближение с центром древнего русского царства” (группа проектантов под руководством П.П.Мельникова и Н.О.Крафта). Тот же П.П.Мельников основное значение дороги усматривал в том, что она будет способствовать “сближению столицы и главного порта с центром обширного государства”<sup>13</sup>. Иными словами, у людей, имевших прямое касательство к делу организации и реорганизации географического и геополитического пространства России, не вызывало сомнений, что, несмотря на утрату статуса столицы, *центром государства* по-прежнему остается Москва.

Переезд советского правительства из Петербурга в Москву в 1918 году был вынужденной внешними обстоятельствами акцией, но тем не менее акцией, восстанавливавшей единство политической, технологической и геополитической структуры государства. Столица была вновь помещена в геополитический центр пространства — и последствия этого вновь были многообразными и разноплановыми.

Одним из них стало то, что с преодолением в послеоктябрьский период существовавшего в течение двух столетий двоецентризма в России/СССР сложился (вернее, был сформирован) своего рода культ “центра”. Цепочка: Москва — Кремль — вождь в Кремле (Ленин, Сталин...). Культ этот, явившийся порождением и катализатором технологий тоталитарной эпохи, имел тем не менее определенные исторические корни и предпосылки. Ведь еще на заре XVII века

Григорий Отрепьев хвастал, что быть ему царем *на Москве...*  
Не на Руси — на Москве...

Сознательно или нет, в сталинские годы был воспроизведен механизм преобразования символического насилия в насилие прямое, физическое, существовавший, хотя и не в столь демонстративном виде, еще во времена Ивана Грозного.

*Феномен технологической недостаточности:  
Алеутские острова, Камчатка, Курилы*

Технологическое освоение восточных окраин России заслуживает отдельного разговора, поскольку здесь, на краю империи, возле Тихого океана, в полной мере проявилось несоответствие технологического и геополитического начал.

*Русская Америка.* Владельцем “русской Аляски” была так называемая Российско-Американская компания, созданная в 1799 г. в целях закрепления и освоения русских владений в Северной Америке. Хозяйственная деятельность компании сводилась в основном к эксплуатации пушных богатств управляемых ею областей. С помощью правительства компания организовала 25 морских экспедиций, в том числе 13 кругосветных, а также провела определенные исследовательские работы на севере Американского материка. Ликвидирована компания после продажи русских владений в Америке США.

Алеутские острова с прилегающей к ним континентальной территорией, иными словами, то, что потом стали называть проданной американцам Аляской, принадлежали русским, но была ли это *Россия*? Примечательно, что в России XIX века существовали достаточно четкие представления о естественных пределах Российской империи и ее географическом, скажем так, ареале. Отто Коцебу, идущий на корабле “Предприятие” через Атлантический океан, вокруг мыса Горн, через океан Тихий к берегам Северо-Западной Америки, нигде не упоминает о том, что территория, названная, уже после ее продажи США, собирательным словом

“Аляска”, является частью Российской империи. Он говорит лишь о “данном крае”, о “колонии”, а о Ново-Архангельске он пишет как о “главном поселении Российско-Американской компании”<sup>14</sup>. Тридцатью годами позже фрегат “Паллада” отправляется, как замечает плывущий на нем писатель А.И.Гончаров, не в “российскую Аляску”, а “в наши американские колонии”...

В то же время ни тому, ни другому не могло прийти в голову писать в таких терминах, скажем, о Камчатке. Камчатка — это не колония, а часть государства российского, невзирая на то, что *методы* освоения этих земель, Камчатки и северо-западной Америки (прежде всего Алеутских островов), *цели* этого освоения практически ничем не отличались. И ощущение того, что земли, на которых обосновалась Российско-Американская компания, — это все же Америка, а, скажем, Камчатка — это, безусловно, Россия, присутствует в большинстве описаний этих североамериканских территорий.

Аналогичная парадигма проявляется порой и в отношении более близких к России, нежели американские, территорий. Согласно Петербургскому договору 1875 г. с Японией последняя, в обмен на отказ от всех претензий на Сахалин, получала Курильские острова, все, целиком. Ощущение геополитической реальности, прагматизм и реализм правительства России заставлял его думать прежде всего об обеспечении безопасности ближних границ и подступов; но даже это, как показали дальнейшие события, и в частности русско-японская война 1904—1905 годов, сделать было достаточно сложно.

Продажа Аляски была обычной для последней трети XIX — начала XX века практикой. Трудно назвать хотя бы одну колониальную державу, которая не продала бы или не поменяла бы какие-то из своих колоний. Так в 1890 году Англия уступила Германии остров Гельголанд а обмен на Уганду, Виту и Занзибар. Эта сделка вызвала большой энтузиазм в Германии; что же касается Англии, то, можно пред-

полагать, Уганда имела для нее немалое значение в контексте амбициозной идеи трансафриканской железнодорожной магистрали Каир — Кейптаун, пролегающей *через британские владения*. Очевидно, что у России сетовать на потерю Аляски, в сущности, ничуть не больше оснований, чем у Франции на потерю Луизианы или Квебека.

Тем более что расставание с Аляской, которое, очевидно, рассматривалось российским правительством как акт вынужденный, не только принесла в казну значительную по тем временам сумму, но была частью определенного рода политической игры: подобным образом Россия стремилась ослабить Англию, столь досадившую ей в Крымской войне, столкнув ее с Соединенными Штатами (Канада, к которой примыкали русские владения в Америке, имела статус британского доминиона).

Кстати, на Аляску (точнее, на все русские колонии в Америке) в 60-е годы прошлого века приходилось не более 600—800 колонистов<sup>15</sup>.

Опять-таки, у правительства и в мыслях не было, что оно отказывается от каких-то *исконно русских* земель, нарушает целостность Российской империи и т.д., — как и в ситуации с Курильскими островами. Курилы во второй половине XIX века рассматривались правительством как территория, лежащая на пределе геополитических устремлений и возможностей России — и к тому же малоценная в хозяйственном, экономическом отношении.

Ситуация Алеутских островов и Курил — это именно та ситуация, когда недостаточность технологического поля заставляет власть идти не по пути технологического самоутверждения и создания соответствующих дисциплинарных пространств, а по пути уничтожения технологического фона, омертвления пространства и *депопуляции* (уничтожение алеутов, по некоторым данным, на 9/10)<sup>16</sup>. С.М.Соловьев описывает, как в 1752 году русские в Охотске сначала перебили взбунтовавшихся коряков, а потом решили “казнить смертию” *всех* коряков, объявивших о сочувствии бунтовщикам,

“потому что за караулом держать было нельзя: их было слишком много, а русских слишком мало”<sup>17</sup>.

Иными словами, неспособность власти технологически освоить пространство и дисциплинировать местное население вела к осуществлению практик депопуляции и утрате контроля над пространством. Это видно по той же Камчатке: в годы, когда на полуострове побывала экспедиция В.Атласова (1695—1700 г.), в низовьях реки Камчатки жило, по самым скромным подсчетам, около 25 тыс. человек. Согласно переписи, проведенной в 1822 г., на Камчатке проживало 2758 камчадалов<sup>18</sup>. А через двести лет после Атласова, в конце XIX века, на всем полуострове оставалось не более 400 камчадалов<sup>19</sup>. Впрочем, то же происходило и в колониях европейских держав: скажем, население Таити к 20-м годам XIX века сократилось, по некоторым оценкам, с 80 (по другим данным — со 130-и) до 8 тыс. человек<sup>20</sup>.

И если в борьбе между Россией/СССР и США за остров Врангеля победил сильнейший (хотя здесь сила военно-политическая совпала с геополитической логикой), то с Аляской дело обстояло иначе. Никаких видимых политических противоречий нет, как нет и соперничества держав за данную территорию — Аляску ввинчивают Америке почти насильно, и покупка эта расценивается американским конгрессом едва ли не как мотовство, бессмысленная растрата государственных средств<sup>21</sup>. Иными словами, продажа (потеря, отдача) Аляски не стала результатом политического соперничества двух государств; она явилась следствием исключительно *технологической недостаточности* российского пространства власти.

Вероятно, развитие могло пойти по иному пути, если бы золото было открыто на Аляске на полвека раньше или Аляска сохранилась в составе России до времен ГУЛАГа, когда последний стал главным фактором и инструментом принудительной колонизации.

Можно было бы сказать, что морская трансконтинентальная колонизация у русских провалилась, — если бы су-

шествовали бесспорные свидетельства тому, что подобная задача вообще ставилась. Во время второй камчатской экспедиции В. Беринга, когда (в 1741 году) русским кораблям впервые удалось достичь берегов Северо-Западной Америки, ученому-географу Георгу Вильгельму Стеллеру удалось сойти на американский берег лишь на несколько часов (он потом сетовал, что на подготовку экспедиции ушло 10 лет, а на исследования ему дали только 10 часов<sup>22</sup>). Тяжело больной командор Беринг сам так ни разу и не сошел на берег Америки.

В то же время в истории России мы находим множество примеров того, что можно было бы назвать *геополитическим усилием*, попыткой раздвинуть сложившиеся геополитические рамки, причем попытки такого рода оказывались бесплодными в силу невозможности освоить новые геополитические пространства технологически. Одна из таких попыток описана И.А. Гончаровым в известной книге «Фрегат “Паллада”». Геополитическая миссия “Паллады” оказалась бесплодной, каждый “шаг” русского фрегата в мировом океане показывал, что это пространство уже стратифицировано, и стратифицировано англичанами.

В принципе ничто не могло помешать России изменить свою судьбу и стать великой морской державой — потенциал страны был вполне достаточен для построения необходимого количества кораблей; поставив целью опередить Англию на море, Россия ее опередила бы (а возможно, даже и реально, без всякого “бы”, опередила во времена СССР — здесь трудно найти объективные критерии сравнения). Но насколько вообще правомерны подобные предположения? Россия, пишет А.С. Панарин,

*«не может игнорировать ни собственную геополитическую традицию, ни систему внешних ожиданий, обращенных к ней (негативно или позитивно) как к держателю хартленда. Ей необходимо понять, что она не может по своему произволу перейти из разряда континентальных держав — участников хартленда, в разряд океанических, относящихся к римленду...»*

*Пребывание в континентальном евразийском пространстве как неперерываемая особенность российской судьбы накладывает свои ограничения на политический выбор и геополитическое творчество. У евразийского пространства есть своя геополитическая логика, которую невозможно игнорировать»<sup>23</sup>.*

Вспомним, кстати: первые переселенцы, попавшие в Америку, считали, что ничто не сможет помешать им раздвинуть границы маленькой, окруженной со всех сторон морями Англии за счет территорий в Новом Свете; но в действительности обретение Новой Англии оказалось иллюзией; то, что возникло благодаря усилиям переселенцев в Северной Америке, Англией уже не являлось и являться не могло... Но это, так сказать, чисто геополитические резоны, а есть еще и ограничители технологические. *Россия-царящая-на-морях* была бы уже *другой* Россией — не только геополитический ареал, но и само властное пространство державы неизбежно стало бы иным, качественно иным, и эти радикальные трансформации подвергли бы российскую инфраструктуру самым жестоким испытаниям, возможно сравнимым с испытаниями 70-х годов XVI века или даже послеоктябрьскими (гео)политическими катаклизмами...

**Курильские острова.** Геополитически Курильская гряда, во всяком случае южная ее часть, находится в зоне интересов и влияния Японии. В то же время граница по Курильской гряде была достаточно естественной и для России. Иными словами, Курилы и прилегающая к ним зона были проблемным с точки зрения естественной геополитики пространством. Исторически, однако, сложилось так, что в то время, как Россия осуществляла колонизационную экспансию на Восток и, двигаясь от Камчатки на юг, достигла Курильской гряды, Япония (после 1638—1639 годов) стала на путь изоляционизма, выезд из страны был запрещен и, кажется, даже карался отсечением головы. В силу этого России удалось расширить сферу действия технологических, властных структур (и соответственно политического и экономического влияния) на оптимальные с точки зрения ес-

тественных геополитических границ рубежи (ситуация, противоположная Аляске).

В то же время освоение Курил носило достаточно поверхностный, а порой просто иллюзорный характер, причем некоторые проявления этой иллюзорности выглядят почти символическими. Д.Я.Анциферов и И.П.Козыревский посетили в 1711 г. самый северный остров Курильской гряды — Шумшу, однако в отчетах утверждали, что побывали также и на другом, расположенном южнее острове — Парамушире. Они даже представили карту этих двух островов. Однако позднее один из участников этой экспедиции под пыткой сознался, что они дали ложные показания, “на другом морском острове” не побывали, и о том “написали в челобитной и в чертеже своем ложно”. В действительности Козыревский с отрядом попал на Парамушир лишь год спустя<sup>24</sup>.

В советское время технологическое освоение Курил осуществлялось с большим напряжением. Причем наряду с обычными трудностями, возникавшими у власти с отдаленными островами-регионами (от Чукотки и Камчатки до островов в полном смысле слова), здесь проявляется и иная, специфический феномен, присущий зоне несовпадения или конфликта геополитического и геоструктурного, технологического начала (или зоне наложения друг на друга геополитических ареалов, например, Курилам), — ужесточение технологий власти, столь характерное для восточных и северных окраин, пространства принудительной колонизации, проявляется здесь в максимальной степени.

Прежде всего следует отметить *депортацию* японцев с островов после второй мировой войны (350 тыс. с Сахалина и около 17 тыс. с Курил, не считая сезонников)<sup>25</sup>.

То, что локализация и депортация являются двумя составляющими одного технологического механизма (о чем подробнее будет сказано позже), видно и на примере Курильских островов: за депортацией этнических японцев последовала жесткая (особенно для региона, где значительная часть населения работает по вербовке, то есть временно) *локализация*. В макси-



мальной степени было затруднено перемещение с острова на остров в пределах Курильской гряды, с Сахалина на Курилы, а также с материка на архипелаг. Для перемещения в зоне островов необходимы были специальные разрешения; жителям запрещено было иметь собственные лодки (рядом — Япония).

Даже отдельные поселки на одном острове фактически оказались изолированы друг от друга (нет приличных дорог; часто наилучший способ передвижения — *по морскому дну*, когда вода отступает во время отливов<sup>26</sup>).

Подобно губернским городам Центральной России, население которых состояло по большей части из чиновников (вспомним еще раз “Записки” Вигеля), население Курильских островов в значительной степени состоит из людей, так или иначе связанных с осуществлением административных/управленческих/властных функций и, в более широком смысле, поддержанием статуса пространства как пространства власти: военные, пограничники, сотрудники метеостанций, маяков и т.п.

Наконец, власть, не ставя своей целью превращение островов в мертвое пространство, не в силах помешать развитию ситуации в этом направлении. Территория островов заполняется мусором, мусор этот горит — но горят и леса. О.Бондаренко пишет:

*«В центре острова Шикотан организовали одну огромную свалку, непрерывно курящуюся от бесконечных пожаров»<sup>27</sup>.*

Всего же на Курильских островах, по его подсчетам, один пожар приходится на каждые 300—400 жителей, ежегодно от огня погибают 3—5 человек<sup>28</sup>.

Впрочем, превращение освоенной территории в мертвую, выгоревшую, зараженную радиацией или токсичными отходами, — общая тенденция развития постсоветского пространства власти; Чернобыль стал в этом отношении лишь символом глобального процесса. Если же говорить о пожарах, то сегодня в России ежегодно выгорает 1,5 млн гектаров леса — столько же, сколько вырубается.

Трудно сказать, как сложились бы исторические судьбы русского Дальнего Востока, если бы этот регион продолжал оставаться объектом исключительно (или по преимуществу) морской колонизации (мало чем в этом отношении отличаясь от той же британской Индии или Америки). Но на протяжении всего XIX века в России расширяется сеть железных дорог, а на рубеже веков у страны хватает ресурсов и воли для сооружения Транссибирской железнодорожной магистрали. И хотя по сей день львиная часть грузов (по некоторым подсчетам, до 80 процентов) доставляется из Европейской России на Дальний Восток морем, Транссибирская магистраль позволила определенным образом “сомкнуть” пространство власти.

Технологическая недостаточность не есть специфически русский феномен. Выше уже говорилось о борьбе России/СССР и США за обладание островом Врангеля. В свете сказанного выше о феномене технологической недостаточности можно сказать, что США были обречены на неудачу. Одной из причин было то, что ранее обусловило неудачу колонизации “русской Аляски”: технологическая недостаточность, вполне естественная за рамками естественных геополитических границ. Но ситуация Аляски и ситуация острова Врангеля коренным образом отличаются в том, что во втором случае имели место политическая борьба и соперничество за обладание территорией (чего не было в коллизии с Русской Америкой). Поэтому в данном случае следует, может быть, говорить не столько о технологической недостаточности, сколько о *политической невозможности* осуществления отчаянного американского прожекта. Преодолеть гравитацию геополитического пространства России, предотвратить потенциальную технологическую недостаточность и справиться с жестким политическим противодействием оказалась не в состоянии даже такая мощная держава, какой стали США после первой мировой войны.

О том, что не только русские сталкивались с технологической недостаточностью в чистом виде, можно вспом-

нить и в связи с челночными передвижениями в Чукотском море знаменитого капитана Кука (речь идет о его третьей экспедиции, в частности, о событиях 1778 года); они оказались столь же бесплодными в контексте геополитических притязаний Великобритании, как и движение “Паллады” в “британском пространстве”...

В свете сказанного понятно отношение автора к рекомендациям о смещении “центра тяжести” российского пространства с Запада на Восток, переориентации российского общества с атлантической цивилизационной модели на тихоокеанскую и соответствующим стратегическим трансформациям — “новому наведению мостов”, уже не с Западом, не с Атлантикой, а со странами Тихоокеанского бассейна<sup>29</sup>.

С точки зрения *технологической* российский Восток в значительной степени находится в зоне хронической технологической недостаточности — в пространстве, организованном через-центр, импульсы власти достигают этой глубокой периферии весьма ослабленными. Изменить это положение волевым путем (например, перенести столицу за Урал) — невозможно, ибо центростремительная структура российского пространства формировалась веками, в контексте определенного типа колонизации. Более того, сегодня последствия этого типа колонизации возвращаются к нам в виде синдрома деколонизации, о чем речь шла выше. *Политические* предпосылки обращения современной России к Тихому океану также не представляются достаточно вескими и бесспорными. Помимо того, что демографическое и колонизационное давление Китая, сверхдержавы с миллиардным населением, неизбежно должно реализоваться соответствующим образом в политической сфере, существуют еще и отношения с Японией, на многие годы вперед отягощенные проблемой Курильских островов, а также ситуация параллельного существования двух Корей, которая является потенциально взрывоопасной. Наконец, есть реальная структура реального *геополитического* пространства, сформированного реальным центром, и эта структура

в целом крайне неблагоприятна для реализации любых ориентированных на Восток глобальных проектов.

Исследователи, отстаивающие идею “сдвига на Восток”, как будто учитывают и одно, и другое, и третье, и их суммарное негативное влияние на ситуацию восточных регионов России. Однако “трехмерная” технологическая — политическая — геополитическая логика (вспомним нарисованную нами трехуровневую карту России) отодвигается на второй план логикой *цивилизационной*. Если модернизация по западному образцу провалилась, и реакция на этот провал неизбежна, причем реакцией будет мощная неоконсервативная волна в России, то следует искать иной вариант цивилизационного развития, точнее, *свой вариант тихоокеанской идеи*<sup>30</sup>. Подобную ментальность с известными оговорками можно связать с присущим цивилизационному сознанию историческим оптимизмом; правда, это не есть самоуверенный оптимизм атлантической “мировой элиты”; это даже не экзальтированный оптимизм славян-победителей (выраженный, например, в статьях Достоевского 1877—1878 гг., о которых речь пойдет ниже), а скорее последнее прибежище сознания, пережившего эпоху национального унижения и национальной катастрофы (я имею в виду 1991 год и распад Союза). Я бы назвал этот оптимизм *историософским оптимизмом* — историософским в том смысле, что сами “правила игры” историософской рефлексии позволяют в какой-то степени абстрагироваться от унижающих это сознание реальностей. Хотя, как показывают, например, работы Константина Леонтьева, историософская идея вполне может быть и национальной, и реалистичной, и пессимистической одновременно... Мне, во всяком случае, ближе парадигма исторического пессимизма, нежели цивилизационная утопическая идея, и эту позицию я пытался выразить в некоторых своих публикациях<sup>31</sup>.

## *К западу от Смоленска: феномен технологической избыточности*

В случае с западными границами России мы имеем дело не с безмерным растяжением пространства власти, которое при значительной его протяженности и редком населении чрезвычайно сложно освоить технологически, а, напротив, со *сжатием* этого пространства (аналогично тому сжатию окружности в точку, о котором уже говорилось в связи с трансформацией техноструктуры в катастрофальных ситуациях, например во время голода), потенциально взрывоопасной ситуацией, овладеть которой, как свидетельствует история, власть в состоянии лишь при помощи избыточного насилия и предельно жестких технологий.

На Западе у России не было естественной геополитической границы, естественных географических рубежей — только этнические. Если, как писал Ключевский, “русские границы на востоке не отличались резкой определенностью или замкнутостью: во многих местах они были открыты; притом за этими границами не лежали плотные политические общества, которые бы своей плотностью сдержали дальнейшее распространение русской территории”<sup>32</sup>, то на Западе все было по-иному — продвижение России на Запад постоянно наталкивалось на сопротивление достаточно *плотное*. Запад не мог быть колонизован, как Восток, *от центра до океана*; Атлантический океан далеко, и *тип* пространства “к западу от Смоленска”, а затем к Западу от Польши был иным, нежели бескрайние пространства на Востоке, Юге и тем более Севере.

Территории между Россией и Западной Европой страдали скорее от *технологической избыточности*. Поскольку естественная граница отсутствует и разграничение может осуществляться лишь по приблизительным контурам распространения этносов, то власть была заинтересована в осуществлении своего рода этнической трансформации, реальной или фиктивной; русификация Польши и Прибалтики в

этих условиях была почти неизбежным методом воспроизводства и самосохранения власти.

Перемещение столицы — Петербурга — в пространство буферной геополитической зоны также вынудило власть ужесточить способы технологического контроля. Проведение границы на Западе было осуществлено после войн и потрясений петровской эпохи по тому же принципу, что на юге: границей стала линия побережья международного моря (в одном случае — Черного, в другом — Балтийского).

После Брестского мира власть рассматривала утраченные территории как объект потенциальной реконквисты и восстановления разорванного и утраченного властного пространства. Что и произошло после включения Латвии, Эстонии и Литвы, а также Правобережной Украины и Правобережной Белоруссии в состав СССР, когда эти территории были поглощены советской тоталитарной техноструктурой (террор, депортации, ГУЛАГ, практика исключения в специфических советских формах и т.д.)

Так называемая перестройка и перипетии постперестроечного периода значительно (хотя и не столь радикально, как может показаться на первый, поверхностный взгляд) изменили систему технологий власти в России; распад СССР повлек за собой радикальное изменение геополитической ситуации (Балтийское и Черное моря, Средняя Азия, Закавказье и т.д.). Но я не берусь здесь рассматривать узел политических, геополитических и технологических проблем в ситуации после распада СССР и реальности постсоветского пространства: этот материал еще слишком близко от нас, историческая дистанция слишком мала...

### **3. Геополитическая утопия как жанр исторического действия**

Итак, реальное географическое пространство структурировано не только с точки зрения технологической, властной, но также геополитически и политически. Существуют

определенного рода естественные рубежи, разрывы, водоразделы, становящиеся де-факто границей сфер влияния и политических интересов тех или иных государств, групп государств, политических союзов, блоков и т.д.; эти водоразделы маркируют естественное географическое пространство, невзирая на государственные границы.

В истории мы многократно сталкивались как с попытками тех или иных государств, политиков и т.п. “субъектов” исторического действия мыслить категориями глобальной геополитики, презрев технологические и политические реальности, так и с амбициями противоположного рода, — игнорируя реальные геополитические водоразделы, осуществить экспансию за их пределы, опираясь прежде всего на гипертрофированное сознание собственной военно-политической состоятельности и, наконец, веруя во всеислие действующих машин власти. Подобного рода планы можно было бы назвать соответственно *геополитической, политической и геотехнологической утопией*.

Что такое утопия *в этом контексте*? Утопия — это вовсе не то, что *не может осуществиться*. В известной книге Э.Я.Баталова “Социальная утопия и утопическое сознание в США” высказывается мнение, что, исследуя сущность утопии, следует исходить прежде всего из способа продуцирования тех исторически сформировавшихся конструкций сознания, которые на уровне рациональной интуиции воспринимаются как утопические; в основе утопического творчества и утопического сознания лежит установка на произвольное конструирование идеала<sup>33</sup>. Мне представляется, что в целом подобный подход может быть принят; а поскольку в истории XX века произвол — и *произвол сознания*, и *произвол действия* — занимает весьма значительное место, то утопия (произвол мысли), подкрепленная произволом действия, порой имеет шанс осуществиться (и осуществляется)...

Исходная точка любой геополитической утопии — гипертрофия определенных способов и механизмов покорения пространства; это может быть гипертрофия геополити-

ческого фактора (в традиционном понимании), но может быть и нереалистичное представление о собственном политическом (военном) потенциале; тем не менее, если речь идет об амбициях того рода и интенсивности, которые выводят политические прожекты на геополитический уровень, имеет смысл говорить о геополитической утопии.

Геополитическая утопия, как правило, имеет своим источником вульгарное технологическое сознание: овладение территорией в соответствии с тем, что считается геополитической логикой, означает для этого сознания автоматическую ее стратификацию при помощи тех или иных технологических машин и политических механизмов. Однако технологическая избыточность (притом часто иллюзорная) и потенциал насилия далеко не всегда суть синонимы совершенной и эффективной техноструктуры.

### *Геополитическая утопия от Александра Великого до Сталина*

**Утопия объединения. Империя Александра Македонского.** Геополитической утопией была, на мой взгляд, империя Александра Македонского, причем момент утопии здесь выражен очень отчетливо, поскольку все, что предпринимал Александр, стимулировалось не примитивными “завоевательскими”, грабительскими намерениями, а укорененной в сознании картиной будущего мира, определенными представлениями о миссии эллинизма, о совершенстве и единственности эллинской цивилизации.

В известном смысле вся деятельность Александра Великого — это своего рода экспорт, но не революции, а универсальной цивилизационной модели, причем трансляция этого глобального универсализма была глубоко сознательным и идейным действием.

В этом отношении походы Александра отличались, скажем, от египетских походов Наполеона или от вынашиваемого в России около 1801 года плана “надавить” на малосимпатичную Англию, двинув в Индию объединенный рус-



ско-французский экспедиционный корпус. Не рассматривая сейчас этот, весьма занимавший Павла I, проект в таких терминах, как безрассудство, бессмысленность, авантюризм и т.д., замечу (и здесь я вполне согласен с Н.Я.Эйдельманом<sup>34</sup>), что он был отнюдь не утопией, а более или менее выполнимой (или, наоборот, невыполнимой) военно-стратегической и политической (антибританской по сути) операцией. Если Наполеон оказался способен добраться до Нила, то почему бы атаману Платову не дойти до Инда? И несколько расширить русское влияние в регионах к югу от Средней Азии? Однако в любом случае русские *завоевывать* Индию (или отвоевывать ее у англичан) на заре XIX века не собирались.

Утопией аналогичные прожекты становятся только тогда, когда рассматриваются в глобальных геополитических контекстах, например в контексте идеи слияния европейской пролетарской и азиатской колониальной революций. Я имею в виду возникшие около 1920 года в большевистском руководстве прожекты о направлении в Индию отрядов красной конницы для нанесения тылового удара по ненавистному империализму и колониализму (опять же британскому) или вполне реальный поход Красной армии на Тегеран в августе 1920 года.

Наконец, ярко выраженной утопией была “интернациональная помощь” якобы вступившему на путь социалистической ориентации Афганистану. Это эманация утопического сознания такой интенсивности, к которой даже не приближались император Павел и его “ближайшее окружение”, хотя последние также собирались двигаться в Индию через *Герат* и *Кандагар*.

**Трансафриканская магистраль.** Железная дорога — это своеобразный способ освоения географического и геополитического пространства, упрочения геополитических границ, но в то же время и элемент властного, технологического механизма. И не только потому, что создаваемая для строительства дороги мегамашина всегда есть производное

данного пространства власти. Мегамашина подобного рода — временна, недолговечна, но сам результат ее функционирования, дорога, может стать стержнем пространства власти, каналом проведения властных импульсов на многие десятилетия. Наконец, помимо этого железная дорога — это и локальная, региональная машина власти, машина мобилизации, концентрации и перемещения материальных и людских ресурсов. В полной мере эта сторона (“машина власти”, воспроизводящая лишь самую власть) обнаружилась в сталинские годы, когда некоторые железные дороги строились заключенными на вечной мерзлоте без всякой хозяйственной необходимости и никогда впоследствии не использовались.

В то же время встроенность технических проектов этого типа в механизмы власти — различна в различных пространствах власти. Скажем, в Америке, где центра, как уже говорилось, не было, все было не так, как в России или, например, на африканском континенте. Какие-то видимые (для переселенцев, движущихся в глубь страны от восточного побережья) геополитические границы — тоже отсутствовали. Железные дороги представляли собой здесь не столько технологический и геополитический стержень пространства власти, сколько эманацию гражданского общества и способов создания такового.

Американские железные дороги не следовали векторам властного воздействия, более того, они порой строились на пустом месте и (как говаривали сами американцы) *никуда не вели*<sup>35</sup>.

В России, напротив, колонизация пространства шла *от центра*, и само это пространство организовывалось, структурировалось через-центр. Поэтому в России железные дороги пересекали чаще всего уже стратифицированное властью пространство — и строились той же властью. Естественно, направление железных дорог совпадает здесь с установившимся направлением движения властных импульсов.

В Африке европейцы на протяжении десятилетий двигались в глубь материка от побережья в разных направлениях: французы шли с запада Африки на восток, от Атлантического океана к Индийскому; англичане же двигались по долине Нила, с севера на юг, против течения реки. Точкой пересечения двух этих векторов оказалось местечко Фашода в верховьях Нила, куда в 1898 году почти одновременно подошли английский отряд под предводительством лорда Китченера и французский отряд под начальством полковника Маршана. Разразился международный конфликт, и французам пришлось уступить.

Инцидент приобрел, казалось бы, гипертрофированное значение, однако это было далеко не случайно. За Фашодой стояли масштабные геополитические проекты англичан, и прежде всего намерение проложить железную дорогу Каир — Капштадт, окруженную британскими землями и в то же время позволяющую усилить контроль за ними, навечно привязать их к британской империи... Для морской Британии эта “сухопутная” идея была примерно тем же, чем в XIX веке была мысль о возможности для российского флота на равных соперничать с британским в мировом океане (здесь следует еще раз вспомнить одиссею фрегата “Паллада”).

Важно подчеркнуть, что проект “Каир — Капштадт” — это не техническая утопия, а *утопия организации пространства, геополитическая утопия*. Иными словами, дело не в техническом или промышленном потенциале, позволяющем или не позволяющем произвести определенное количество рельсов, паровозов и вагонов, мобилизовать определенное количество рабочей силы и проложить *стальную магистраль*.

Речь идет о ложной презумпции превращения занятой, захваченной территории в пространство власти, причем *синхронного, автоматического* превращения. И даже поверхностный взгляд на современную географическую карту, фиксирующий независимый Египет на севере Африки и ЮАР на юге, говорит о том, что этот континент

уже никогда не будет “нанизан” на созданный Британией технологический стержень.

Кстати, план, на первый взгляд поразительно напоминающий проект Каир — Капштадт, рассматривался применительно к российским условиям начала XX века. В 1904 году французский предприниматель Лойк де Лобель, выступавший от имени группы американских бизнесменов, ходатайствовал перед российским правительством о предоставлении американскому синдикату концессии на постройку Сибирско-Аляскинской железной дороги от Канска через Киренск, севернее Байкала, далее через Колыму и Чукотку к Берингову проливу. Предполагалось соединение этой магистрали с железнодорожной сетью США при помощи тоннеля под Беринговым проливом. Условием было предоставление концессионерам права в течение 90 лет использовать любые природные ресурсы в 25-верстной зоне вдоль дороги.

Проект был правительством отклонен как “не отвечающий ни государственным, ни промышленным целям края”<sup>36</sup>. Хотя до Киренска (что на Лене) железная дорога не дотянулась и по сей день, проект трудно рассматривать как геополитическую утопию — ведь дорога пролегла по территории, входившей в состав одного государства, причем находившейся в зоне *хартленда*, принадлежность которой к России никогда никем не оспаривалась. Более того, в России уже было в основном закончено строительство Транссибирской магистрали, показавшей, что реализация подобного рода проектов под силу России и чисто технически. Тем не менее этот амбициозный, но все-таки, вероятно, реальный проект, опиравшийся не на логику саморазвития техноструктуры, а на вполне “гражданские” практики, отработанные в ходе строительства Транссибирской магистрали, был отвергнут.

В то же время, говоря о геополитических утопиях, следовало бы упомянуть о проекте строительства железной дороги Салехард — Игарка с последующим продолжением ее до Чукотки и созданием железнодорожного дубликата Се-

верного морского пути. Предполагалось, очевидно, что осуществление этого проекта стимулирует колонизацию Севера, а колонизационное усилие будет осуществлено за счет принудительного труда заключенных. Иными словами, прежде всего был создан не технический механизм, призванный решать технико-экономические задачи, — на концах воображаемой прямой, соединяющей Салехард и Игарку, была создана машина власти, то есть технологический конструктор.

Овладение территорией в соответствии с тем, что считается геополитической (“державной”) логикой, означает для утопического сознания автоматическую ее стратификацию при помощи тех или иных “вечных” технологических машин (поскольку вечно время породившей их власти). Однако технологическая избыточность (притом часто иллюзорная) и безграничный потенциал насилия далеко не всегда способны обеспечить эффективную, стабильную и тем более вечную техноструктуру: дорога строилась руками зеков, как и большая часть того, что было сделано и построено в 30—50-е годы на советском Севере, и реализация проекта была остановлена после смерти Сталина.

**Утопия раздела. Пакт Молотов — Риббентроп.** Некоторые вполне современные, родившиеся в XIX—XX веке геополитические утопии, своими корнями уходят, как это ни парадоксально, в весьма темные века российской истории и в известной степени представляют собой различные модификации неоимперской, “византийской” идеи “Москва — Третий Рим” (о которой уже немало было сказано выше).

В 1877 году Ф.М. Достоевский рассуждал о неизбежности судьбоносного союза между объединенной Германией и Россией. Германия, полагал он, не в состоянии одна победить двух страшных и уже соединившихся врагов: католичество и социальную революцию. Германии нужна Россия:

*«Во всяком случае одно кажется ясным, именно: мы нужны Германии даже более, чем думаем. И нужны мы ей не для минутного политического союза, а навечно. Идея воссоединенной Герма-*

*нии широка, величава и смотрит в глубь веков. Что Германии делить с нами? объект ее — все западное человечество. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала вместе римских и романских начал и впредь стать предводительницей его, а России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом, предназначены изменить лик мира сего»<sup>37</sup>.*

Восток для Достоевского — это прежде всего Константинополь, *Царьград*. Именно обладание Царьградом позволит России занять достойное место в мире — стать державой, способной *изменить лик мира сего*. С точки зрения Достоевского, даже Н.Я.Данилевский был недостаточно радикален и последователен в вопросе о судьбе Константинополя; Данилевский предполагал, что после победы России в войне с Турцией Константинополь должен стать общим городом для всех восточных народностей, то есть что восточные славяне будут владеть городом на равных основаниях с русскими.

*«Такое решение, по-моему, удивительно, — пишет Достоевский. — Какое тут может быть сравнение между русскими и славянами? И кто это будет устанавливать между ними равенство? Как может Россия участвовать во владении Константинополем на равных основаниях с славянами, если Россия им неравна во всех отношениях — и каждому народу порознь и всем им вместе взятым? <...> Константинополь должен быть на ш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки»<sup>38</sup>.*

Кстати, Константин Леонтьев, во многом близкий по ментальности к Достоевскому и также высоко ставивший Н.Я.Данилевского, оказался гораздо пронизательнее в анализе и предсказании политического расклада сил в Европе и по оси “Европа — Россия”. В статье “Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения”, написанной чуть позже соответствующего раздела из “Дневника писателя” (во всяком случае, после Берлинского конгресса 1878 года и 1 марта 1881 года), он достаточно детально анализирует возможность и вероятные последствия вступления России и Германии в открытую борьбу, которая “невероят-

но тягостна для обеих сторон”, но, увы, возможна, — как возможно и *энергетическое движение* Германии по преимуществу на Запад, Drang nach Osten, в качестве замены прежних мечтаний о давлении на Восток<sup>39</sup>. Во всяком случае, констатирует Леонтьев, “*все теперь* в мире зависит лишь от рода взаимных отношений между Россией и Германией”<sup>40</sup>.

Все дело в том, что, в отличие от Достоевского, Леонтьев не исторический романтик, самодовольный и самонадеянный патриот-победитель, предвкушающий блистательные перспективы и вящую славу России; он и не исторический оптимист, верующий в особую миссию своего народа и в неизбежность развертывания этой миссии на наших глазах. Леонтьев — реалист, а если попытаться расположить его на оси “исторический оптимизм — исторический пессимизм”, то он, по его собственному мнению, скорее пессимист:

*«В прогресс верить надо, но не как в улучшение неперенное, а только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодутная, все ожидающая какой-то весны... В этом смысле, я считаю себя, напр., гораздо больше настоящим прогрессистом, чем наших либералов»*<sup>41</sup>.

Очевидно, что речь у Достоевского идет не об обоюдоприемлемом размежевании политических интересов России и Германии, а о глобальном разделе мира: Запад — германский, протестантский, Восток — русский, православный.

Великая геополитическая утопия Достоевского не состоялась: на Берлинском конгрессе 1878 года Россия не только не получила Константинополя, но вообще ее приобретения были удивительно малы по сравнению с ее победой; вечный же союз с Германией оказался опрокинутым с началом первой мировой войны...

Несмотря на это идея разделения Европы между Россией и Германией не канула в Лету. Один из отцов современной геополитики Карл Хаусхофер тайно рекомендовал нацистскому руководству заключить договор с СССР, изве-

стный впоследствии как пакт Молотов — Риббентроп<sup>42</sup>. Вскоре после заключения этого пакта он, исходя из своего видения геополитических реальностей, предложил план создания большого континентального евроазиатского союза, объединяющего Германию, Россию, Испанию Франко, вишистскую Францию и Японию. Проект, как говорят, был доведен до сведения Молотова и Сталина, которые не сочли необходимым каким-либо образом на него отреагировать. Кроме того, Хаусхофер, как утверждается, считал целесообразным поддерживать антиколониальную борьбу индусов, арабов и персов, то есть тех, кто расшатывал опоры британской империи. (Здесь он мыслил также, как Павел I, Ленин и Троцкий.)

После нападения Германии на Советский Союз стало очевидным, что Гитлер не принял всерьез перспективу создания мощной антибританской континентальной коалиции. Это, однако, не означало, что сам тип глобального, утопического в своей основе геополитического мышления был в Германии изжит. Сохранилась директива И.Риббентропа немецкому посланнику в Ирландии, затрагивающая вопросы сепаратного мира Германии с Великобританией и США и датированная февралем 1945 года. Тезисы, изложенные в этом документе, предлагалось использовать германским представителям в беседах “с особо важными политическими лицами”. В числе предлагаемых аргументов — утверждение о том, что полное поражение Германии будет означать такое усиление СССР, что он будет в состоянии “завершить свою программу осуществления господства над Европой”, а “после покорения Европы уничтожение Британской империи будет только вопросом времени”<sup>43</sup>. Раздел Германии на зоны оккупации, даже если бы Сталин и пошел на этот вариант, не сумел бы предотвратить большевизации Европы и полного подчинения ее сюзеренитету Кремля. Затем последует советская экспансия в Турцию, на Ближний Восток и т.д. “Будет правильным сказать, что со дня нашего поражения на германском восточном фронте (все это пишет

136



Риббентроп. — С.К.) судьба Европы, Британской империи, в конечном счете Америки будет решена...”<sup>44</sup>.

Конечно, в директиве Риббентропа явственно ощущается компонент спекулятивный, но если все же не отбрасывать этот текст как не заслуживающую анализа спекуляцию, то становится очевидным, что в нем просматривается и еще одна ментальная составляющая — та же характерная для довоенной германской геополитики гипертрофия *геополитического* и непонимание того, что помимо линейной, мыслящей континентами и гигантскими пространствами геополитики, существует сложное переплетение и наложение друг на друга политических, технологических и иных факторов. Используя терминологию традиционной геополитической школы, можно сказать, что здесь *heartland* полностью совмещается, совпадает с государственными границами и зонами политического доминирования — и то, что является лишь *тенденцией*, получает абсолютное выражение; Риббентроп, действительно, один из тех, для кого геополитическое пространство есть *бесконечное* пространство; его разворачивание ограничено лишь его собственной имманентной логикой; процесс саморазвития геополитического пространства не имеет ни ограничителей, ни противовесов, лежащих *вне* самого этого пространства...

Советско-германский пакт 1939 года был геополитической утопией не потому, что разделительная линия между СССР и Германией была проведена произвольно, неверно, не отражала геополитических реальностей и интересов, а потому что *делила мир*, оставляя Германии — Запад, России — Восток. Запад и боролся против участников этого гипотетического раздела мира не как против чрезмерно амбициозных политических субъектов, вышедших за рамки реальных представлений о границах собственного и сопредельных государств, а именно как против авторов утопии мирового господства; формой такой борьбы стала сначала антигитлеровская коалиция (главный враг — Германия), а затем, уже после второй мировой войны, “холодная война” против СССР.

Сопоставляя едва ли не циклическую смену геополитической парадигмы “соединения” на парадигму “раздела”, мы можем с определенными оговорками говорить о том, что механизм “объединение — раздел” работает как своеобразная геополитическая (геоутопическая?) машина.

### *Утопия становится реальностью*

**Утопия концентрации. Израиль.** Не менее распространено стремление освоить географическое пространство чисто *политически* (включая сюда и угрозу применения силы, и чисто военные средства, ибо война, как принято считать, есть не что иное, как продолжение политики другими средствами).

Когда мы говорим о геополитической утопии, мы имеем в виду *только* утопичность проекта в рамках геополитической логики, геополитических контекстов. Но геополитические детерминанты не являются единственными. Есть множество других векторов воздействия, которые порой действуют в одном направлении с геополитическими, но нередко — и в противоположном. В частности, речь идет о векторах политических. Собственно, тот смысл, с которым понятие *геополитика* когда-то вошло в обиход в нашей стране — стремление силой перекроить географическую карту и привести в соответствие границы государств и естественные, необходимые для развития народов географические пределы, — как нельзя более ярко иллюстрирует конфликт *политического* и *геополитического*. Поэтому *то, что с точки зрения геополитики является утопией, с точки зрения политики часто является прагматикой*. Подобный конфликт может существовать длительное время, периодически актуализируясь, трансформируясь, но может стать вечным — дисбаланс превращается в своего рода норму, если один из балансирующих ситуацию факторов в силу тех или иных причин оказывается доминирующим.

Геополитическая утопия такого рода — Израиль. Уникальный для XX века колониционный проект был осуществлен в

ситуации, когда реальные геополитические предпосылки его осуществления отсутствовали едва ли не полностью.

Если мы вспомним, как происходила сборка-разборка пространства в России, то мы увидим, что сборка в основном осуществлялась на основе цивилизационной (православие), а разборка — на основе национальной, этнической. В Израиле же собирание государства происходило на национальной основе (как и в Австралии), но в основе ее лежала не естественная потребность или необходимость освоить и заселить новооткрытые земли, а некая ментальная сверхзадача — создание этнического очага на уже освоенной и заселенной территории. Естественно, отсутствие геополитических предпосылок могло быть компенсировано только сильной политической волей и сооружением не менее жесткого технологического каркаса. Жесткость последнего, впрочем, очевидна: несмотря на постоянное вливание эмигрантов, израильское общество остается едва ли не более монолитным, нежели любое западное общество.

***Утопия разъединения. Тайвань.*** С неменьшими основаниями можно назвать свершившейся политической утопией Тайвань. И Тайвань, и Израиль продолжают существовать благодаря благоприятной констелляции политических факторов, которые перевесили — трудно сказать, навсегда ли — геополитические императивы.

В принципе, с точки зрения геополитики, Тайвань и Китай должна была ожидать (и ожидает) судьба двух Германий и двух Вьетнамов. Однако в ситуации, когда политическая воля мирового сообщества направлена на поддержание статус-кво, она может стать фактором более реальным, чем вещественные, географические и этнические императивы.

Говорят, что раскол и дезинтеграция континентального Китая является перспективой не менее правдоподобной, нежели поглощение Тайваня материковым Китаем. Но именно Тайвань самим фактом своего существования объединяет континентальный Китай, уберегает его от раскола,

дает пространству от Амура до “золотого треугольника” объединяющую идею, цель и смысл существования.

Кроме того, китайцы, ощущая себя представителями тысячелетней цивилизации, не считают возможным мыслить лишь в плоскости элементарной политической логики. Они, безусловно, ощущают не только политический аспект разделения Китая, но и культурный, цивилизационный, технологический... Империя, воздвигнувшая Великую стену, чтобы изолировать население от дестабилизирующих воздействий варварского мира, возможно, и не стремится инкорпорировать Гонконг или Тайвань по модели включения Прибалтики в состав СССР, сознавая, что соприкосновение двух техноструктур, безусловно, уничтожит слабейшую, локализованную в небольшом пространстве, подкрепленную к тому же ограниченными политическими, экономическими и военными ресурсами, — но при этом в победившую структуру проникнет своего рода яд, вирус, который сможет привести ее к разложению... Не случайно лозунгом, с которым на континенте собираются решать проблему Тайваня, стала формула “Одна страна — две системы”. Китай уже готов присоединить к себе территорию Гонконга; но эксперимент по сращиванию двух технологических систем хитроумные китайцы, судя по всему, осуществлять не собираются...

Наконец, следует отметить, что политические утопии типа Тайваня, Израиля или двух Германий могут осуществляться и поддерживаться не только при опоре на предельно жесткие политические и силовые факторы, но непременно и на жесткие технологические механизмы; без этого, очевидно, Восточная Германия не смогла бы сохранить себя до 1989 года — “Штази” и расстрелы перебежчиков на германо-германской границе были столь же неотъемлемой частью проекта “социалистического германского государства”, как военная мощь СССР и Варшавского пакта.

## *Геотехнологическая утопия, советский вариант*

Стремление преодолеть естественные геополитические пределы, осуществить крупномасштабную политическую и технологическую экспансию за пределами тех геополитических границ, которые ограничивают сферу преобладающих интересов государства, порождает новый вид утопии, которая сочетает в себе одновременно признаки и геополитической, и технологической утопии.

В сущности, это попытка осуществить геополитическую экспансию, опираясь прежде всего не на политические (и, естественно, военные, поскольку война является “продолжением политики...” и т.д.), а на технологические средства, не на политику, а на власть. В определенном смысле это геополитическая экспансия на технологической основе. В истории это не столь уж распространенное явление, однако в классификационной матрице все клеточки должны быть заполнены, в том числе и та, где колонка с надписью “геополитика” пересекается горизонтальной графой, помеченной словами “технологии власти”.

В основе геотехнологической утопии, как и утопии геополитической, лежит сознание технологической избыточности и непоколебимая вера в неодолимость имеющегося потенциала насилия. Однако геотехнологическая утопия — это все же нечто иное, нежели утопии геополитические (скажем, сшитые из разнородных, разноплеменных элементов глобалистские сверхгосударства вроде империи Александра Великого или третьего рейха, или же трансконтинентальные железнодорожные магистрали, представляющие собой стержень известной техноструктуры, инструмент стратификации территории как пространства власти) или чисто технологические (вроде опричнины, где присутствовал географический, пространственный момент, но не было элемента геополитического).

В разделе, посвященном технологиям власти, уже отмечалось, что устройство типа паноптикума представляет

собой конструкцию, стремящуюся к пространственной экспансии, к превращению всего пространства власти в закрытое тем или иным родом стены/ограды/решетки/колючей проволоки социальное пятно, остров, архипелаг и пронизыванию этого, присвоенного властью, пространства всепроникающими дисциплинарными технологиями.

Однако технологическая машина имеет тенденцию развертываться и за пределы того общественного организма, который регулируется данной системой технологий власти, ей присуща некая предрасположенность к геополитической экспансии. Подобного рода экспансия, ввиду гигантских масштабов покоряемого пространства, а часто и его технологической чужеродности, редко опирается на видимые технические конструкты. Если еще раз вспомнить Т.Эдисона, это тот тип телеграфа, который функционирует “без таксы”.

В данной ситуации более характерным является не стремление окружить/огородить/отграничить определенную зону, территорию и т.д. неким механическим способом, обнаруживая и фиксируя действующую сеть технологий власти, а попытка создать некое технологическое ядро, некий стержень, вокруг которого может развиваться и отталкиваться от которого может развертываться данная техноструктура. (Одним из наиболее распространенных “завязей” технологической структуры такого рода является порт, служащий отправной точкой для колонизации территории, или, как уже было отмечено, железная дорога.)

Однако характерное — еще не значит исключительно возможное. Порой власть обнаруживает любопытную тенденцию, стремление увидеть себя в некоем осязаемом, чувственно воспринимаемом облике, явить миру некий материальный эквивалент своего стального скелета. Утопия и такого рода материализм — отнюдь не антиподы; значительное число утопий в этом мире замыслилось и реализовывалось именно материалистами; не удивительно поэтому, что материалистическое сознание, вынашивающее амбициозные глобалистские прожекты, стремится опереться на не-

кие бесспорные, вещественные, зримые точки опоры, даже когда оно имеет дело с такой неявной тканью, какой является ткань технологическая.

В мае 1959 года на имя Н.С.Хрущева в ЦК КПСС поступил проект возведения по периметру морских границ США и в других стратегически важных пунктах земного шара искусственных островов, которые должны были стать площадками для запуска советских атомных ракет средней дальности. Пакет документов был представлен группой под руководством инженер-майора А.Н.Ирошникова, причем все участники работы носили эту фамилию (к сожалению, публикатору этих интереснейших документов московскому историку и архивисту А.Давыдову не удалось выяснить каких-либо подробностей об авторах этого проекта, месте их работы или службы и дальнейшей судьбе). Ирошниковы предлагали внезапно, за одни сутки возвести 20—25 бетонных островов в океане и, разместив на них ракеты, осуществлять давление на США и НАТО.

Проект может показаться очередным произведением дилетантов или людей, мягко говоря, психически неуравновешенных (сотни подобного рода проектов ежегодно поступало и поступает во все государственные учреждения, в Академию наук и т.д.). Однако Хрущев передал предложения Ирошниковых на рассмотрение начальнику Генерального штаба В.Д.Соколовскому, приложив, между прочим, к документам собственноручную записку. По предложениям Ирошниковых работала группа солидных военных экспертов, которая в крайне сжатые сроки дала ответ первому секретарю ЦК КПСС (справка Генштаба, подписанная тем же В.Д.Соколовским, датирована 1 июля 1959 г.).

Наконец, проект, остававшийся в архиве Общего отдела ЦК КПСС, был рассекречен только по истечении 30-летнего срока.

Посмотрим на предложения Ирошниковых несколько внимательнее.

*«В каждом океане имеется незначительное количество никем не занятых мелей и так называемых банок (подводных островов), на которых глубина моря не превышает 25—50—100 м. <...> Такие банки имеются и вокруг Американского континента. Чтобы окружить США ракетными установками средней дальности, мы можем на этих банках возвести небольшие (для начала) искусственные острова диаметром порядка 100 м (под видом организации рыбо-промысловых баз), установить на этих островах несколько (для начала) символических сборно-разборных домиков и, заселив их символическими жителями (гражданами СССР), поднять над островами отнюдь не символический флаг СССР и объявить их “Территорией СССР”»<sup>45</sup>.*

Далее:

*«Мы предполагаем, что в различных точках Восточного и Западного полушарий Земли надо будет одновременно возвести 20—25 островов. <...> Таким путем, подобно США и Англии, Советский Союз в разных точках земного шара сможет создать свои военно-воздушные и морские опорные базы (по типу Мальты, Перл-Харбора, Гибралтара, Сингапура и др.)»<sup>46</sup>.*

Возведение искусственных островов, в числе прочего, должно было дать СССР инструмент для изменения режима Черноморских и Балтийских проливов.

В справке-заключении Генерального штаба на письмо А.Н.Ирошникова отмечалось, что идея создания искусственных островов в океане не является абсолютно новой; в частности, американцами были построены так называемые “техасские вышки” в Атлантическом океане, представлявшие собой искусственные острова в виде равносторонних треугольников с размерами сторон 60 м на расстоянии 150—300 км от побережья на глубинах 15—60 м; сооружения эти были предназначены для раннего радиолокационного обнаружения воздушных и морских целей.

Это, кстати, означает, что идея Ирошниковых не является бредовой — ибо идея не может быть одновременно и бредовой, и апробированной, едва ли не банальной.

Тем не менее проект был признан несостоятельным, во-первых, в связи с тем, что авторы его (по словам специали-



тов Генштаба) имели “весьма смутное представление” о размерах, строительстве, стоимости и предназначении военных баз типа Мальты, Перл-Харбора, Гибралтара и Сингапура — “практически строительство хотя бы одного острова в полном объеме потребует колоссального привлечения различных по своему назначению сил и средств и вложения в это дело больших денежных ассигнований”<sup>47</sup>.

Во-вторых, идея не нашла поддержки потому, что “по объектам США можно будет в ответном ударе с успехом воздействовать с территории Советского Союза имеющимися средствами”.

В-третьих, как отмечалось в заключении Генштаба, “если даже условно допустить возможность строительства таких изолированных искусственных островов и оборудования на них площадок для запуска ракет, не считаясь с затратами, вблизи побережья вероятного противника, то и в этом случае эти сооружения не могут быть эффективно использованы по своему прямому назначению, т. к. каждый такой остров легко может быть уничтожен противником одной атомной бомбой до начала или в первые же часы войны”<sup>48</sup>.

Наконец, высказывалось убеждение, что создание искусственных островов в непосредственной близости от берегов США нецелесообразно, так как может лишь осложнить международную обстановку.

Напомню, что проект Ирошниковых был направлен Хрущеву весной 1959 года. Кубинская революция только что победила (партизаны Кастро вошли в Гавану 1 января 1959 года), и следовательно, разработчики идеи исходили из политических и геополитических реальностей, существовавших до 1959 года.

После победы “барбудос” на Кубе международная ситуация существенно изменилась. Дальнейший ход событий (и в частности размещение советских ракет на Кубе, спровоцировавшее Карибский кризис 1962 года) показал, что советское руководство все же не собиралось целиком уповать на возможность “с успехом воздействовать по объек-

там США с территории Советского Союза имеющимися средствами”. Развитие Карибского кризиса показало также, что, с одной стороны, потенциальное обострение международной обстановки не могло остановить Хрущева и советское руководство, а с другой — что возможных масштабов этого обострения они реально не представляли. Вероятно все же, именно соображения стоимости проекта (которую трудно было даже предвидеть) и, возможно, прямо не высказанные сомнения в том, что подобную акцию можно подготовить в тайне, стали решающими при оценке проекта Ирошниковых. Ибо когда кубинское руководство дало согласие на превращение своего острова в “непотопляемый советский авианосец” и на размещение на нем ядерных ракет, решение было принято самое радикальное.

Однако этот, весьма амбициозный, план размещения ракет на Кубе — в сущности, гигантское геополитическое усилие одной из великих держав — оказался неосуществим по *политическим* соображениям, ибо, как оказалось, прямым путем вел к ядерному конфликту.

Очевидно, и проект Ирошниковых, как показал тот же Карибский кризис, был неосуществим прежде всего *политически*. Сеть искусственных платформ не была инструментом экспорта в Западное полушарие каких-то технологий власти. Предназначение ее не выходило за рамки изменения баланса в военно-политической сфере. Но объективно, независимо от представлений и мотивов авторов и участников обсуждения этого проекта, он был попыткой преобразовать структуру геополитических технологий, обеспечить ретрансляцию логики организации властного, технологического пространства в иные, а именно политическую и геополитическую сферы.

Иными словами, в сфере большой политики и геополитики в разгар холодной войны существовала некая, нашедшая подобное своеобразное выражение, потребность в технологичности, в формализации определенных неформальных отношений и взаимосвязей. Это значит, что и в этой

сфере пытался утвердить себя некий автоматизм, некая бес- субъектность, хотя, вероятно, и другого рода, нежели в сфе- ре технологий власти. Но в данной ситуации в извечном противоречии политического и геополитического сильнее оказались геополитические императивы. Идея полностью совместить линии технологической структуры и структуры геополитической, стратифицировать технологически всю сферу собственного геополитического влияния, предвари- тельно “огородив” ее почти так же, как в Англии в период “огораживаний” поступали с пастбищами, оказалось нево- стребованной и, по всей видимости, невыполнимой.

### *Технологическая статика как idée fixe власти*

Устройство типа паноптикона не есть нечто, жестко про- тивостоящее системе пространственного контроля. Более того, это конструкция, стремящаяся к развертыванию в простран- стве, к экспансии, к превращению всего пространства власти в опоясанное каменным поясом технологическое пятно и про- низыванию всего присвоенного властью пространства соответ- ствующими дисциплинарными технологиями.

Подобного рода экспансия трансформирует конструк- цию, делает ее подвижной, разорванной, раздвоенной и в конце концов уничтожает ее как таковую. Тем не менее не- безынтересно посмотреть на те материальные, видимые кон- структы, по которым мы все же можем проследить эту бук- вально понятую пространственную экспансию дисципли- нарных технологий. И если технологические конструкты типа паноптикона служат контролю микросоциума, микро- косма власти, то конструкции типа Великой Китайской сте- ны призваны контролировать пространства власти, развер- нутые в реальном географическом пространстве.

Власти присуще стремление застраховать, обезопасить себя от случайностей, что можно сделать, предотвращая любые изменения; но ведь движение — это тоже изменение, поэтому власть стремится обеспечить некую статичность не

только внутри присвоенного ею пространства, но и статичность параметров самого этого пространства.

В основе утопий этого рода лежит ощущение технологической недостаточности, своего рода комплекс, идея фикс — ограничить (или *от*-граничить), зримо, вещественно проявить технологический механизм, и тем самым обрести само-уверенность и ощущение незыблемости статус-кво.

**Башня мира — Статуя Свободы.** Когда мы видим изображение 98-метровой Башни мира, сооруженной на японском острове Хоккайдо в виду советских (ныне российских) Курильских островов, и пытаемся понять ее предназначение в контексте определенной техноструктуры, то становится очевидным, что суть и смысл конструкции связан не с функцией наблюдения по вектору Хоккайдо (территория Японии) — Хабомаи (территория России) (хотя на башне установлены оптические приборы, позволяющие всем желающим, прежде всего туристам, наблюдать за происходящим в пределах Южных Курил). Иными словами, башня воспроизводит и реагирует не “паноптический” взгляд по линии *наблюдатель-в-башне — наблюдаемый*, а, напротив, взгляд *от* наблюдаемого в сторону потенциального наблюдателя.

Башня мира и все прочие подобные сооружения, если их рассматривать в качестве паноптического конструкта, оказываются не более чем фикцией. Локус и космос власти не могут контролироваться микротехнологиями — здесь власть имеет дело уже не с отдельным индивидом, выделенным из массы (“театрик одного актера”, как выражался Фуко), а с общностями людей и коллективными социальными телами, которые не могут быть охвачены взглядом из одной точки, из точки символического пребывания Власти. Но — и в этом парадокс — эти массы людей и это множество социальных тел можно побудить обратить *свой* взгляд в одну точку и этим “собрать” их.

При этом одновременно границы пространства становятся незримыми, а само пространство бесконечным. В паноптиконе, в этом стратифицированном и организованном властью социуме, взгляд власти проникает до внешних стен

сооружения, упирается в них — и гаснет. В моделируемом пространстве власти, в стратифицированном властью географическом пространстве незримые стены, невидимые границы возникают там, *откуда* исходит устремленный на Власть взгляд *тех-кто-под-властью*, пусть даже не реальный (то есть типологически аналогичный взгляду наблюдателя в паноптиконе), а метафизический, метафорический.

Очевидно, нечто подобное можно сказать и о знаменитой Статуе Свободы, и о статуе Сталина на канале Волго-Дон (той самой, о которой ее создатель говорил: “Мой берлинский монумент у этого под пахом пройдет!”). По свидетельству одного из участников установки памятника весной 1952 года, монтажника по специальности, некий член высокой государственной комиссии, принимавшей сооружение, выразил опасение, что фигура (учитывая высоту постамент) будет представлять опасность для воздушных транспортных средств, а они, в свою очередь, для нее. Поэтому необходимо обозначить габариты монумента, то есть установить на нем сигнализацию в виде красных источников света... Прежде всего, на голове статуи... Ибо “безопасность нахождения великой фигуры в степи для всех нас священна”. Предложение вызвало бурную и неоднозначную реакцию и различные суждения, начиная с того, что красные фонари на голове вождя народов — это кощунство, и вплоть до того, что следует установить в районе памятника специальную закрытую воздушную зону для облета. Решили, как явствует из воспоминаний, разместить красные фонари внутри головы вождя, чтобы они были видны сверху, пилотам, и не видны снизу<sup>49</sup>.

Таким образом, практическое использование монумента вытекает только из факта существования самого монумента. Власть обслуживает саму себя. Она не решает возникающие естественным порядком технические проблемы, а самым фактом своего функционирования порождает их.

И статуя Свободы, и статуя Сталина рассекают не то художественное пространство, о котором пишет Хайдеггер,

упоминая о возможности существования *иначе устроенных* (иначе устроенных по отношению к пространству физически-техническому) пространств. Они заполняют пространство власти, выступая как чисто технологическое средство его организации, стратификации и маркировки. И когда система контроля переходит на обширные пространственные системы, *взгляд-из-башни* становится вторичным по сравнению с взглядом, направленным *на* башню, а конструкция становится символом.

**Великая китайская стена.** Возведению Великой Китайской стены посвящена известная притча Ф.Кафки. Смысл ее неоднозначен, но тем не менее, одна из наиболее впечатляющих интерпретаций ее сводится к тому, что власть создавала не стену — она создавала бреши в ней, позволяющие сохранить ощущение внешней угрозы и тем самым обеспечить самовоспроизводство и консолидацию империи<sup>50</sup>.

Это оригинальная интерпретация, но никак не единственно возможная. Прежде всего, неясно, почему ощущение внешней угрозы необходимо было поддерживать созданием брешей, а не открытой для врага границы, созданием состоящей из отдельных фрагментов стены, а не, скажем, системы крепостей. Кроме того, существуют указания на то, что император Ши Хуанди приказал как раз достроить стены, уничтожив бреши, и произошло это около 213 г. до н.э.; этот император хотел получить *сплошную* стену.

Если отвлечься от текста Кафки и просто поразмышлять о феномене Стены в контекстах бытия власти, то следовало бы подумать над тем, что целью строительства мог быть не какой-либо материально ощущаемый результат, а процесс строительства как таковой (воспроизводство власти, формирование мегамашин и коллективных социальных тел вокруг общей глобальной задачи, поставленной властью). Сооружение Стены было настолько глобальной, настолько выходящей за хронологические рамки человеческой жизни задачей, что она уже могла рассматриваться не только в контексте извечного стремления власти покорить, присвоить, поглотить пространство,

но и как акт, утверждающий вечность власти, бесконечность ее *времени*.

Или же целью был *материальный* результат, но результат, не связанный каким-либо образом с функциональным предназначением стены; результатом могло быть создание впечатляющего материального *образа* власти. В этом смысле Стена является аналогом египетских пирамид.

Далее. Пространство власти должно в одно и то же время создавать ощущение уязвимости (для подданных) и неуязвимости (для самой власти). В свое время автор написал эссе о *дверях* как технологическом элементе, позволяющем обнаружить некоторые особенности/характеристики пространства власти<sup>51</sup>. Можно было бы сказать, что укрепления Великой Китайской стены являются аналогом дверей, открывающихся наружу, дверей власти, реально защищающих пространство власти, а бреши в стене являются аналогом дверей, отрываемых внутрь (такие двери легко выбиваются ударом ноги) и создающих ощущение уязвимости.

Интересна также точка зрения О.Латтимора, на которую ссылается и с которой, в сущности, солидаризируется в своей книге “Постижение истории” А.Тойнби:

*«...Граница империи... фактически имеет двойное назначение. Она служит не только для того, чтобы преграждать путь соседям, но и для того, чтобы не выпускать своих жителей за пределы страны... Считалось необходимым ограничить деятельность китайцев по ту сторону Великой стены... чтобы не утрачивалась их связь с государством. Сельское хозяйство или торговля, которыми они занимались за пределами Великой стены, шли более на пользу варварам, чем китайскому обществу. Они как бы соскальзывали с китайской орбиты... Китайцы, покинувшие китайскую орбиту и приспособившиеся к некитайскому экономическому и социальному порядку, либо подчинялись варварским правителям, либо сами начинали практиковать варварские формы правления, ослабляя тем самым Китай»<sup>52</sup>.*

Таким образом, стена не столько ограждает территорию от вторжения извне, сколько ограничивает и придает форму коллективному этническому и социальному телу, служит

гарантией непрерывности и неразрывности связи подданных с государством, с властью. Это своего рода механизм стратификации. Стена не столько фиксирует геополитическое пространство и предотвращает попытки сузить это пространство извне, сколько служит оболочкой, скорлупой властной техноструктуры.

О том, что крепостная стена по своей функции является не защитой от тех, кто снаружи, а препятствием для тех, кто внутри и стремится вовне, свидетельствует и утилитарное использование толстых крепостных стен в процессе функционирования тюрьмы. Известно, например, что стены Петропавловской крепости были *полами*. Пространства внутри стен назывались *казематами* и использовались в различных целях — от содержания узников до пребывания воинской охраны и хранения боеприпасов и продовольствия. То же самое можно сказать и о стенах Соловецкого монастыря (который также был не только монастырем, но и крепостью, и тюрьмой).

А в захваченной (а не построенной русскими) Шлиссельбургской крепости стены были неправдоподобно толстыми (толщина стен Королевской башни Шлиссельбургской крепости составляла 5,08 м, а Флажной башни — 4,41 м), но при этом глухими.

Стена Московского Кремля оказалась достаточно объемной для того, чтобы создать в ней некрополь и помещать в него урны с прахом видных революционеров и государственных деятелей. Это, естественно, превращает стену в ряд конструктов, воплощающих власть, становящихся ее символическими образами. Таким образом, стена не только *ограждает* от воздействия или *отгораживает* тех, кто внутри; стена также *поглощает* — и живых, и мертвых.

Великая стена выступает своеобразным про-явлением техноструктуры и в то же время отражением определенного менталитета. Это менталитет закрытого пространства, то есть абсолютной противоположности того, о чем писал Хайдеггер, пространства, которое не простирается, а натывает-



ся на искусственные пределы, установленные властью в соответствии с ее представлениями о собственной природе и присущим ей гипертрофированным самомнением. Это особенно хорошо осознается при сравнении Китая с Россией. Россия, в отличие от Китая, была страной колонизирующейся, то есть развивающейся вовне. Спасение от набегов “варваров”, во всяком случае в послемонгольский период, виделось прежде всего в усилении военной мощи; ограждение и прикрепление населения в пространстве власти достигалось посредством жестких локализирующих технологий, не связанных с формализацией и фиксацией ареала потенциальной экспансии власти. В конкретной геополитической ситуации России в недрах власти не могла зародиться склонность к пространственному самоограничению — власть осмысливала пространство своего воспроизводства как лишенное пределов, *бесконечное*.

Россия не была заинтересована в какого-либо рода конструктивной фиксации пространства власти и ограничении ареала колонизации. Поэтому она шла не по пути фиксации пространства власти при помощи статических конструкций, а путем маркировки завоеванного пространства при помощи системы кордонов и крепостей и, при опоре на эти системы, постоянного расширения территории, находящейся внутри линии кордонов.

Так было на “азиатском клине” (выражение В.О.Ключевского<sup>53</sup>), то есть в маловодных и безлесных степях, географически составляющих своего рода продолжение степей Центральной Азии, соединенных с ними широкими воротами между Уральским хребтом и Каспийским морем и простирающихся из-за Урала постепенно суживающейся полосой по направлению к западу, мимо Каспийского, Азовского и Черного морей. Здесь была возведена знаменитая Оренбургская линия, протянувшаяся на 1100 верст по среднему и верхнему Яику, Ую и Тоболу; уже к середине XVIII в. здесь было построено 23 крепости, главными из которых были Орская, Троицкая и Петропавловская<sup>54</sup>.

Сходным образом, оставляя на векторах своего движения на юг укрепленные кордоны и крепости (Кизляр, Моздок, Владикавказ, Грозная) с сильными воинскими гарнизонами и создавая тем самым предпосылки для дальнейшего продвижения, действовала Россия в XVIII—XIX вв. на Кавказе.

Кстати, нечто вроде сплошного деревянного частокола, очевидно, существовало на южных границах Киевской Руси еще в X—XI вв. Направлявшийся к печенегам немецкий миссионер Бруно в 1006—1007 гг. проезжал через Киев; князь Владимир уговаривал его не ездить к печенегам, но когда Бруно отказался, вызвался проводить его с дружиной до границ своей земли, “которые он со всех сторон оградил крепким частоколом на весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприятелей”<sup>55</sup>. Выход за пределы укреплений осуществлялся через ворота. Кстати, в середине X века линия укреплений по южной границе Киевского княжества шла на расстоянии одного дня пути от Киева; во времена Владимира путь из Киева к границе занимал два дня.

В более позднее время существовала знаменитая *засечная черта*<sup>56</sup>. Но при всем внешнем сходстве и засечная черта, и защитная линия князя Владимира не были сооружением типа Китайской стены; они не были конструктом власти, хотя и представляли собой весьма незаурядные фортификационные сооружения.

Некоторые идеи, отдаленно напоминающие конструктивное мышление китайских императоров, появляются в последнее время в России, правда, в формах, лишенных китайской амбивалентности и изошренности. Так в середине 1990-х годов некоторые наши политики державно-патриотической ориентации, резко критически относившиеся к правительству и в то же время полагавшие несостоятельной ставку на военную победу в чеченском конфликте, призывали обнести Чечню “забором” или, если смотреть реально, отделить Чечню и создать непроходимую государственную границу между ней и Россией.

Единственный аналог этой идеи, воплощенный в реальную действительность в XX веке, — это возведение двухметровой ограды вдоль границы австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Здесь пустынные равнины кишат бродячими собаками, которые убивают ягнят, и ни один штат не хочет допускать на свою территорию “чужих” собак...<sup>57</sup>.

**Берлинская стена.** У А.Тойнби есть очень важная мысль: варвары, которые смели границы, отделяющие их от цивилизованного мира, оказываются перед новым, совершенно неведомым им кругом проблем и испытывают замешательство.

*«Причина деморализации варвара-победителя, — замечает Тойнби, — кроется во внезапном освобождении его от напряжения границы, к чему победитель оказывается психически и морально не готовым»<sup>58</sup>.*

Но *напряжение границы* — это фактор существования не только варваров по *ту* сторону границы (стены), но и подданных империи по *эту* сторону. Наличие внешней угрозы, фиксируемое стеной, обеспечивает поддержание необходимого напряжения.

При такой интерпретации становится очевидным сходство Великой Китайской стены и Берлинской стены, этого порождения XX века и “холодной войны”. Берлинская стена — такое же средство создать *напряжение границы*, как и три тысячи лет назад. О степени этого напряжения можно судить по тому, что, по различным оценкам, возле Берлинской стены пограничниками ГДР было застрелено от 300 до 800 человек.

Выше приводилось высказывание О.Латтимора по поводу Великой стены. Любопытно сопоставить его с впечатлениями и размышлениями человека, подвизающегося совершенно в другой области, но также не лишённого философичности и проницательности, а именно писателя Андрея Битова.

В эссе “Берлинское небо” он так описывал свои впечатления от пребывания в Западном Берлине (тогда еще окруженном бетонной стеной):

*«Вас постигает счастливая измученность пространственно-го воображения: где вы? внутри или снаружи? освобождены или заточены? что это — тюрьма или крепость? озеро или остров? Берлинская перверсия... Когда Западный Берлин в одночасье обнесли забором и колючей проволокой, кто от кого отгородился — мы от них или они от нас? Как сказано у Фомы, пока не станет внешнее внутренним, а внутренне внешним, пока мужчина не станет женщиной, а женщина мужчиной и т.д., никто из вас не войдет в Царствие Небесное»<sup>59</sup>.*

Иными словами, констатируется та же функциональная амбивалентность, двойственность конструкта, о которой говорит и Латтимор, ибо и здесь

*«...внутреннее становится внешним: не они, а мы обнесены забором от нас же»<sup>60</sup>.*

На этих двух, разделенных в истории тысячелетиями, примерах видно, как конструкт, на первый, поверхностный взгляд, представляющийся военным, фортификационным сооружением, обретает свой подлинный смысл лишь в контексте технологических, то есть властных, отношений, оказываясь одним из обнаружений власти.

---

<sup>1</sup> Тойнби А.Дж. Постигание истории. С. 141.

<sup>2</sup> Подробнее см.: Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1995. С. 202-206.

<sup>3</sup> См. прежде всего главу “Геополитический вызов цивилизационной идее” в упомянутой выше книге: Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе. С. 198-261.

<sup>4</sup> Хайдеггер М. Время и бытие. С. 314.

<sup>5</sup> Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 100.

<sup>6</sup> См.: Ключевский В.О. Соч. Т. V. С. 194-198.

<sup>7</sup> Покровский М.Н. Избр. произведения. Кн. 1. С. 309, 311.

<sup>8</sup> Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII века // Вопр. истории. 1989. № 4. С. 12.

<sup>9</sup> Зензинов Н.А. От Петербург-Московской до Байкало-Амурской магистралей. М., 1986. С. 38.

<sup>10</sup> Мэмфорд Л. Миф машины // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 84.

<sup>11</sup> Покровский М.Н. Избр. произведения. Кн. 1. С. 635, 638.

- <sup>12</sup> *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. С. 89-90.
- <sup>13</sup> *Зензинов Н.А.* От Петербург-Московской до Байкало-Амурской магистрали. С. 34.
- <sup>14</sup> *Коцебу О.Е.* Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. Изд. 3-е. М., 1987. С. 202.
- <sup>15</sup> *Бондаренко О.* Неизвестные Курилы. С. 303. Книга О.Я.Бондаренко чрезвычайно интересна и, кажется, не имеет аналогов по обширности фактического материала (как исторического, так и современного), Правда, политически она достаточно тенденциозна. Однако если принимать во внимание эту политическую ангажированность (в духе “Демократической России” начала 90-х), то она служит незаменимым источником информации об этом отдаленном и мало нам известном регионе.
- <sup>16</sup> Там же. С. 303.
- <sup>17</sup> *Соловьев С.М.* Соч. Кн. XII. С. 115.
- <sup>18</sup> *Коцебу О.Е.* Новое путешествие вокруг света. С. 199.
- <sup>19</sup> *Магидович И.П., Магидович В.И.* Очерки по истории географических открытий: В 5 т. Т. 3. М., 1984. С. 75.
- <sup>20</sup> *Коцебу О.Е.* Новое путешествие вокруг света. С. 107.
- <sup>21</sup> См. весьма обстоятельную и не оставляющую в этом сомнений статью: *Болховитинов Н.* Аляскинский скандал // Вопр. истории. 1989. № 4.
- <sup>22</sup> *Магидович И.П., Магидович В.И.* Очерки по истории географических открытий. Т. 3. С. 102.
- <sup>23</sup> *Панарин А.С.* Россия в цивилизационном процессе. С. 215-216.
- <sup>24</sup> Там же. С. 79-80.
- <sup>25</sup> *Бондаренко О.* Неизвестные Курилы. С. 102.
- <sup>26</sup> Там же. С. 159.
- <sup>27</sup> Там же. С. 160.
- <sup>28</sup> Там же. С. 179.
- <sup>29</sup> *Панарин А.С.* Россия в цивилизационном процессе. С. 258-260.
- <sup>30</sup> Там же. С. 257.
- <sup>31</sup> См.: Риск исторического выбора в России (материалы “круглого стола”) // Вопр. философии. 1994. № 5. С. 18-20; *Королев С.А.* Конец века в усталой стране. Метафизика исторического пессимизма // Независимая газ. 1996. 15 марта.
- <sup>32</sup> *Ключевский В.О.* Соч. Т. V. С. 194.
- <sup>33</sup> См.: *Баталов Э.Я.* Социальная утопия и утопическое сознание в США. М., 1982. С. 16, 18.
- <sup>34</sup> *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. С. 223.
- <sup>35</sup> *Бурстин Д.* Американцы: демократический опыт. М., 1993. С. 152.
- <sup>36</sup> *Зензинов Н.А.* От Петербург-Московской до Байкало-Амурской магистрали. С. 166.

- 37 См.: *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя. 1877 // *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 15 т. Т. 14. СПб., 1995. С. 369.
- 38 Там же. С. 360.
- 39 См.: *Леонтьев К.Н.* Избранное. М., 1993. С. 163-166.
- 40 Там же. С. 163.
- 41 Там же. С. 179-180.
- 42 *Стойкерс Р.* Теоретическая панорама геополитики // *Элементы.* 1992. № 1. С. 7.
- 43 Мировое равновесие и “вакуум силы” / Публ. В.Ерошина и В.Ямпольского // *Неизвестная Россия. XX век.* Кн. 2. М., 1992. С. 304.
- 44 Там же. С. 307.
- 45 Фантазия на темы “холодной войны”. Публикация А.Давыдова // *Неизвестная Россия. XX век.* Кн. 3. М., 1993. С. 232-233.
- 46 Там же. С. 234-235.
- 47 Там же. С. 250.
- 48 Там же. С. 250-251.
- 49 Куранты. 1991. 10 авг.
- 50 См.: *Подорога В.* Знаки власти. С. 185-186. Я бы сказал, что интерпретация Подороги представляется мне даже более целостной и последовательной, нежели текст самого Кафки.
- 51 См.: *Королев С.А.* Двери // *Знамя.* 1995. № 2.
- 52 Цит. по: *Тойнби А.Дж.* Постижение истории. С. 543-544.
- 53 *Ключевский В.О.* Соч.: В 8 т. Т. I. М., 1956. С. 47.
- 54 *Курмачева М.Д.* Города Урала и Поволжья в крестьянской войне 1773—1775 гг. С. 37.
- 55 *Ключевский В.О.* Соч. Т. I. С. 161.
- 56 Весьма красочно ее описывает Л.Н.Гумилев — см.: *Гумилев Л.Н.* От Руси к России. С. 200-201.
- 57 *Мурхед А.* Дорога через безмолвие. С. 194.
- 58 *Тойнби А.Дж.* Постижение истории. С. 552.
- 59 *Битов А.* Берлинское небо // *Лит. газ.* 1990. 20 июня.
- 60 Там же.

## ГЛАВА IV

### МАКРОТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЛАСТИ\*

Можно идентифицировать несколько глобальных операций, на осуществление которых так или иначе ориентированы практически все технологии власти. Назовем прежде всего акт *выделения (стигматизации)* объекта приложения властных технологий (Фуко делает акцент на *выделении аномального*<sup>1</sup>, но это, как представляется, лишь этап становления дисциплинарных технологий, и власть, по мере ее самоутверждения, все больше *выделяет* и принадлежащее к сфере нормального); *локализацию* (и *изоляция* как *вид локализации*); *перемещение (депортацию)*, затем такие операции, как *иерархизация* и *унификация*; упомянем также *исключение* (механизм которого подробно анализирует М.Фуко), и наконец, *нейтрализацию* (выступающую в различных формах вплоть до *ликвидации/уничтожения*).

Эти глобальные операции, скрепляющие глобальное социальное пространство, *макрокосм* власти, представляют собой результат кумулятивного действия множества властных технологий. Я бы назвал подобного рода глобальные операции “большими технологиями”, поскольку они пронизывают общество в целом, как бы насквозь, не ограничиваясь рамками того или иного рода локальных пространств или микросоциумов. Рассмотрим некоторые из них.

---

\* Глава подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (исследовательский проект “Технологии власти в истории России”).

## 1. Технологии локализации

### *Крепостное право: вопль отчаяния власти?*

*“Прикрепление крестьян — это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении”.*

С.М.Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом.

После 1917 года в отечественных социальных науках безоговорочно утверждается представление о возникновении на Руси крепостного права как результата действия преимущественно социально-экономических причин, что вполне понятно в контексте исключительного положения марксистско-ленинской теории и методологии (имевшей ощутимый привкус экономического детерминизма) и крайне негативного отношения ко всем иным исследовательским парадигмам.

Подобная ситуация знаменовала собой разрыв с весьма значительной и мощной отечественной интеллектуальной традицией, которая стремилась истолковать феномен крепостного права, используя значительно более широкие и разнообразные подходы. В частности, в русской исторической и философской литературе существовала давняя традиция, связывающая возникновение крепостного права с особенностями *российского пространства*.

Еще П.Я.Чаадаев полагал, что постепенное утверждение крепостного права на Руси было

*«лишь необходимым последствием порядка вещей, зависящего от самой природы социальной среды, в коей он осуществился, или от нравственного склада народа, его терпевшего, или, наконец, от той и другой причин вместе взятых»<sup>2</sup>.*



Ситуация, когда на протяжении веков немногочисленное население *бродило* в пространстве между 65° и 45° (северной) широты, несомненно, не могла воспроизводиться бесконечно — “нужно было положить конец бродячей жизни крестьянина”<sup>3</sup>. Именно в этом контексте философ упоминает общеизвестные вехи установления крепостной зависимости на Руси: регламентация переходов крестьян от помещика к помещику (“Юрьев день”); привязывание крестьянина к земле разного рода административными мерами; включение его в кадастр земельной собственности; наконец, смешивание крестьянина с домашними крепостными и *рабами* (как Чаадаев именует, очевидно, холопов) и полное его порабощение<sup>4</sup>.

Кстати, у Чаадаева эти вехи выглядят примерно так же, как и в наиболее значительных работах советских историков, например Б.Д. Грекова (чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать то, что последний писал о регламентации положения крестьян в общегосударственном масштабе). Л.В. Черепнин также достаточно подробно показал постепенность и многослойность процесса движения к установлению единообразного порядка перехода крестьян, “Юрьеву дню”, начиная с середины XV века; иными словами, историк зафиксировал первые фазы создания механизма локализации *этого типа*, механизма, который полностью сложился к середине XVII века<sup>5</sup>.

Как известно, за установлением единообразного срока переходов последовало учреждение “заповедных лет”, когда переходы были запрещены (первый из них — 1581 год). Затем эта временная мера была многократно повторена, фактически став *нормой*. Наконец, запрещение переходов крестьян и закрепление их за тем или иным помещиком становится нормой юридической — аномальными делаются переходы. Одновременно ужесточается механизм поиска беглых и увезенных другими помещиками, увеличиваются сроки их возвращения — сначала с пяти до десяти, а потом и до пятнадцати лет. (При этом, заметим, технологии лока-

лизации часто оказывались *недостаточными*, а легитимная практика обратного перемещения — “слабее” основанной только на нелегитимном насилии практики незаконного удерживания; вернуть крестьян обратно зачастую оказывалось невозможно, если за актом возвращения не стоял прямой интерес государства. У многих дворян отсутствуют средства розыска и *свозки* своих крестьян даже за период в 10—15 лет.) Поэтому, по мере возвышения служивого помещичьего класса, отодвигающего в качестве опоры власти крупную земельную аристократию, постепенно утверждает себя принцип бессрочного возврата беглых или увезенных.

Иными словами, совершенствуется то, что Соловьев назвал “ловлей и усаживанием”<sup>6</sup>, и совершенствуется весьма интенсивно. Закрепощение крестьян происходит стремительно, в течение полувека, максимум семидесяти лет (1581—1649 гг.) — в зависимости от того, будем ли мы включать в этот срок годы Смуты.

С точки зрения технологической крепостное право никак не может быть признано аномалией. Скорее это была специфическая форма утверждения дисциплинарного начала на Руси — дисциплинарного не в фукианском смысле, подразумевающим “современные”, возникшие в основном в Новое время, технологические машины и механизмы, а в более традиционном, архаическом. Как в свое время выразился Чаадаев, крепостное право некоторым специфическим образом упорядочивало жизнь государства, вело к установлению *более стабильного порядка вещей*<sup>7</sup>.

И Чаадаев не одинок в подобной оценке. Прочитую Константина Леонтьева:

*«Крепостное право было в свое время великим и спасительным для России учреждением. Только с утверждением этого особого рода феодализма, вызванного необходимостью стянуть, расслоить и этим дисциплинировать слишком широкую и слишком однообразную Россию, государство наше начало расти»<sup>8</sup>.*

*Стянуть* — это значит особым образом стратифицировать пространство; *расслоить* — значит иерархизировать;

*дисциплинировать* — это значить опереться на сложившуюся систему технологий власти, контролировать ее, создавать соответствующие ей институты...

Очень важным представляется факт наличия двух типов зависимых людей на Руси: крестьян и холопов. Крестьянин прикреплен к земле, которой, в свою очередь, владеет тот или иной землевладелец (вотчинник, помещик, монастырь, государство). Холоп находится в зависимости от конкретного человека. Холоп (по крайней мере до 1678 г.) не платит дани, подати — и в этом смысле он не является *подданным*. Когда земли переходят из рук в руки, крестьяне, «сидящие» на этой земле, также меняют своих владельцев. Порой процесс перехода земли с крестьянами от одного владельца к другому происходит болезненно, сопровождается крестьянскими волнениями и другими эксцессами (нечто подобное описал А.С.Пушкин в повести “Дубровский”). Холопы же, принадлежащие определенному хозяину, из рук в руки не переходят (за исключением акта продажи); более того, на Руси существовала традиция, когда по смерти хозяина согласно его духовной холопы, дворовые люди (или значительная их часть) отпускались на волю и превращались в зависимых крестьян<sup>9</sup>. В XV веке, когда холоп получал свободу, он становился “великокняжеским человеком”, то есть человеком, зависимым не от отдельного феодала, а от феодального государства<sup>10</sup>.

Показательно, что в работах историков и юристов прошлого века крестьяне и холопы нередко рассматривались как два различных сословия<sup>11</sup>.

В известном смысле институт холопства — это рудимент того отношения к территории как к ценности «второго ряда», которое превалировало в княжеском менталитете эпохи Киевской Руси. Как заметил С.М.Соловьев, в период княжеских усобиц и борьбы за великокняжеский стол в Киеве “пределы ни одной волости, ни одного княжества не увеличивались, по крайней мере, приметно, на счет других, потому что князю не было выгоды увеличивать волость, которой

он был только временным владельцем”<sup>12</sup>. (Исторической вехой в изменении этой парадигмы мышления стало только решение Андрея Боголюбского отказаться от великокняжеского стола в Киеве и остаться во Владимире-на-Клязьме, хотя сам процесс изменения мышления власти был, конечно, более длительным.) И в то же время холопство — это некое предвосхищение жестких форм крепостничества петровской и послепетровской эпохи.

По мере освоения пространства и все более жесткой стратификации его властью пространство-территория становится универсальным медиатором отношений зависимости (или, в известном смысле, даже взаимозависимости) *людей-у-власти* и *тех-кто-под-властью*. Крепостной — не холоп, ибо он “принадлежит” не хозяину, а *земле*, или хозяину *через* землю. Личная зависимость фиксируется через отношение зависимого индивида к земле, то есть адекватно его положению на некоей территории, стратифицированной как пространство власти. Однако с определенного момента приращение территорий и интеграция их в пространство власти изменяют ту самую *сущность пространства*, о которой говорил Хайдеггер, и это пространство уже не может быть стратифицировано прежней системой технологий, основанной на опосредованной (землей) зависимости мелкого производителя.

Власть в состоянии удержать пространство лишь при помощи технологий прямой зависимости, то есть за счет ужесточения технотехнологической структуры. Соответственно статус и реальное положение крепостных крестьян и холопов сближается (или, как выразился Чаадаев, происходит *смешивание* крестьян с домашними рабами); в итоге этого процесса в 1724 году холопы были обложены подушной податью (так называемая “первая ревизия”). И, скажем, в деловой переписке XVIII века понятие холопа уже практически не фигурирует — в челобитных присутствуют ссылки на бегство *крепостных дворовых людей*<sup>13</sup>.

Вот почему не имеет смысла проецировать на российскую историю матрицу линейной эволюции технологий вла-

сти, их “прогресса”, смягчения и т.д., выражающегося прежде всего в усилении дисциплинарной составляющей техноструктуры и сокращения сферы действия технологий, ориентированных на прямое воздействие на человеческое тело или, во всяком случае, на прямое, не опосредованное ненасильственными практиками принуждение индивида. Скорее имеет смысл говорить о пессимистическом понимании прогресса, так отчетливо выраженном К.Н.Леонтьевым.

Признание первостепенной значимости крестьянина как работника (особенно после полосы феодальных войн второй четверти XV века и затем после разорительной опричнины) естественным образом превращало его фигуру в средоточие технологий власти. Его уже недостаточно подчинить или наказать — его надо закрепить (локализовать) и только этот акт локализации позволяет заставить его выполнять свои функции работника.

После бурной эпохи Ивана Грозного и разгула опричнины, когда русская земля, и без того представлявшая собой значительное пространство с малочисленным населением, еще более обезлюдела, фигура *потенциального работника* становится объектом ожесточенной борьбы между разного типа землевладельцами — прежде всего между служивыми мелкими и средними дворянами и *сильными людьми* (богатые вотчинники, монастыри и т.д.). Сильные люди увозят, кабалят или переманивают (имея возможность дать работнику перспективу более благополучной или просто более или менее сытой жизни) *людей* у мелких служивых дворян. Последние ропшут и бьют челом царю.

*Человек-на-земле* ценен, дорог — и потому должен быть локализован в пространстве, прикреплен к месту. Как, каким образом могла быть осуществлена подобного рода локализация? За счет каких ресурсов власти? Очевидно, подобное развитие — от свободы к несвободе — было возможно лишь там, где пространство власти было организовано *через-центр*. Необходимую меру всеохватывающей несвободы, несвободы для всех могло обеспечить лишь государство,

центральная власть. Только она могла это сделать, только она обладала необходимыми властными ресурсами. И в то же время она *должна* была это сделать, ибо прикрепление/отток крестьян было *проблемой центра*, без этого невозможно было обеспечить функционирование служивого класса и, следовательно, функционирование власти как таковой.

И это происходит, естественно, в той же исторической точке, о которой уже подробно было сказано во второй главе книги в связи с проблемой кризисов российской технотрактуры. “Начало семидесятых годов XVI века есть исходный хронологический пункт запустения большей части уездов московского центра”<sup>14</sup>, — пишет Н.А.Рожков. По его подсчетам, в Московском уезде по книгам 1584—1586 годов, на 673 1/2 деревни приходилось 2182 пустоши и лишь 3 починка: запустевшие деревни составляли 76% общего числа, а вновь возникавшие — всего 0,1%. А по данным 1573—1578 годов (хотя и не столь полным), исследователь насчитал 93—96% пустошей. Не лучше обстояло дело и в других уездах: в Можайском, например, было до 86% пустых деревень, в Переславль-Залесском — от 50 до 70%<sup>15</sup>. Что примечательно, запустение коснулось даже расположенных к северу от центра областей, в частности, Твери и Ярославля.

Есть, однако, данные, позволяющие говорить об отливе населения на восток как о явлении, в полной мере проявившем себя еще до опричнины, и основным моментом, стимулировавшим этот отлив, были не ужасы опричной эпохи или хищническая эксплуатация крестьянства новыми, мелкими и средними, помещиками, а сам факт появления новых свободных земель на Востоке. Так, уже в 1552 году Серпуховской посад потерял около пятой части своих тяглых людей<sup>16</sup>. Но именно в 70-е годы XVI века, пишет Рожков, “слабые зачатки отлива населения, наблюдавшиеся в некоторых из этих уездов (Московской Руси. — С.К.) в 50—60-х годах, превращаются... в интенсивное, чрезвычайно резко выраженное явление бегства крестьян из Центральной области”<sup>17</sup>.

Земля остается ценностью, но только если это земля с “сидящими” на ней крестьянами; локализация становится условием самосохранения пространства власти; так что технологическая структура приводится в соответствие с изменившимися реалиями, и более того, приобретает определенную инерцию избыточного технологического насилия, которая ведет к возникновению форм локализации, уже совершенно автономных от вызвавших их к жизни причин (например, к ликвидации различий между крепостными и холопами в первой четверти XVIII века).

И именно с глубиной *кризиса локализации* мы должны соотносить стремительность процесса закрепощения крестьянства. (Известным выходом из жесткой системы локализации было только бегство в город. Как, кстати, и в период после сталинской коллективизации.)

Однако технологии локализации в предимперской и имперской России — проблема более общая, нежели даже такой глобальный вопрос, как генезис крепостного права. Важно отметить, что различные формы *прикрепления к месту* использовались не только в отношении крепостных крестьян (хотя мотивы этих прикреплений были подчас весьма различными). Скажем, когда в 1700 году Петр I упразднил патриаршество, назначил Стефана Яворского экзархом — блюстителем — патриаршего престола, то в числе ряда нововведений, касающихся церковной жизни, он повелел новообразованному монастырскому приказу переписать все монастыри, мужские и женские, и сколько монахов и монахинь застанут в каких монастырях, тем и оставаться в своих монастырях неисходно (то есть запрещалось переходить из монастыря в монастырь).

*«Стража стала у ворот монастырских, — писал историк С.М.Соловьев, — монахи и монахиня не могли выходить, кроме крайней необходимости, и то на короткое время...»<sup>18</sup>.*

И “соблазнительное бродяжничество” (С.М.Соловьев) монахов и монахинь из одного монастыря в другой, вызывавшее много жалоб и нареканий, было прекращено.

В 1736 году было объявлено о “вечном закреплении” рабочих и мастеровых на мануфактурах, что означало резкое расширение сферы локализации. Однако главное не в количестве подобных актов, а в том, что введение новой дисциплины в государстве могло осуществляться и осуществлялось повсеместно, широким фронтом, и даже ужесточение принципов дисциплины там, где оно, как могло показаться, не диктовалось необходимостью, имело смысл и целесообразность, ибо преследовало цель утверждения новых технологических принципов как таковых.

Для понимания механизмов процесса локализации в российском пространстве власти существенно иметь в виду, что в России существовала своего рода технологическая матрица, возникшая на микросоциальном уровне и помогавшая реализовать макротехнологические амбиции центральной власти. Я имею в виду технологическую систему, связанную с феноменом, который ученые XIX века называли *дом-двор*. Об этом, в частности, писал Кавелин:

*«Как был устроен частный быт, точно так же было устроено и все государственное здание. Домашняя дисциплина послужила образцом для дисциплины общественной и государственной. В царской власти, сложившейся по типу власти домовладыки, русскому народу представлялась в идеальном, преображенном виде та же самая власть, которую он коротко знал из ежедневного быта, с которой жил и умирал»<sup>19</sup>.*

Покровский этот феномен называет по-иному: “дворище”, “печище”, считает его аналогом сербской “задруги” и подчеркивает, что это было принципиально иное образование по сравнению с русской сельской общиной, являвшейся, по его мнению, ячейкой юридическо-финансового кол-



лективизма<sup>20</sup>. (“Древнейший тип государственной власти развился непосредственно из власти отцовской”<sup>21</sup>, — пишет историк и также именует главу *дворища* домовладыкой.)

Система крепостного права в каком-то смысле напоминает дом-двор, пределы которого раздвинуты до *граней*, отмечающих границы поместья и государства. (Здесь уместно вспомнить, что разница в статусе поместья и государства как государевой наследственной вотчины была не столь отчетлива — ведь царь и царская фамилия были крупнейшими помещиками, владели десятками тысяч крестьян и сотнями тысяч десятин земли.) Во всяком случае, сравнение российского пространства власти с такой структурой, как дом-двор, имеет право на существование, как и ментальная реконструкция воображаемого паноптического сооружения, адекватного технологиям крепостной зависимости...

Но есть, как представляется, и другой, не менее, если не более важный аспект проблемы, другого рода предпосылки технологий глобальной регламентации-локализации. Выше уже было сказано об исследовательской стратегии М.Фуко, ставившего своей целью обнаружение технологических предпосылок тех или иных социальных институтов и анализ этих институтов как некоего про-явления скрытых от наблюдателя технологий и механизмов власти. Как это ни удивительно, но сходной целью — обнаружить практики, оформление которых привело к установлению крепостного права как совокупности правовых норм и как общественного института, — задавались некоторые ученые, работавшие в совершенно иных методологических полях или парадигмах, нежели Мишель Фуко или, скажем, Валерий Подорога, и на совершенно ином материале. В частности, подобное соотношение между сложившимися практиками и формированием институтов было отмечено — в рамках марксистского метода исследования — советскими историками первого поколения, анализировавшими явления, возникшие на совершенно иной почве, нежели та, которая породила феномены, рассмотренные Фуко. Например, извес-

тный историк Б.Д. Греков, анализируя генезис крепостного права в России, писал — и эта констатация кажется мне чрезвычайно важной, — что

*«не крепостничество привело к барщине, а барщина вызвала крепостничество»<sup>22</sup>.*

И исчезает крепостное право сходным образом: сначала постепенно ограничивается и сходит на нет барщина, а потом юридически упраздняется институт.

Но матрица отношений “работник” (в принципе любой человек, который *служит*) — “барщина” (в принципе любая повинность) — “хозяин” существовала и за пределами отношений помещиков и крестьян. Более того, она *по-явилась* за пределами этих отношений. Ибо сначала возникает “барщина” бояр/дворян по отношению к царю/государству, требование обязательной службы, а лишь затем барщина крестьян, как некий аналог и в то же время условие существования, исполнения повинности дворян.

Кстати, процесс ограничения права служивого боярства на *отъезд* (то есть на переход со службы одному князю к другому) по мере государственной централизации в Северо-Восточной Руси и усиления Москвы происходит так же неуклонно, как и ограничение права крестьянского *отказа*. Традиционное право боярина-дружинника на *отъезд* было, правда, связано с определенной ограничительной процедурой: дружинник, недовольный своим князем, должен был принародно, то есть перед лицом других слуг князя, “бить ему челом” о своих обидах; затем он должен был найти представителя церкви, который признал бы причины его отказа от присяги уважительными и “разрешил” бы его от крестного целования...<sup>23</sup>. Однако возможность *отъезда* была реальной (хотя М.Н. Покровский и замечает, что не стоит идеализировать право *отъезда* “слуг вольных” или рассматривать это право вне связи с фактором силы: “Сильный князь никогда не стеснялся казнить слабого *отъездчика*”<sup>24</sup>).

По мере же усиления Москвы и превращения московского князя в наиболее сильного, богатого и влиятельного суве-

рена в пределах российского пространства право отъезда превращается на деле в право перехода от удельных князей на службу к великому князю московскому, но не наоборот<sup>25</sup>.

Однако “прикрепление” бояр к князьям происходило скорее по модели прикрепления холопа к хозяину, чем по образцу прикрепления крестьянина к земле. Ведь крестьяне искали *землю*, получить (или сохранить) которую можно было только через “службу”, вступление в отношения зависимости к владельцу или юридическому собственнику земли.

Бояре, дворяне и холопы искали хозяина, способного взять их на *службу*, через которую можно было получить землю (или землю с сидящими на ней крестьянами). Поэтому не столь уж неправ Л.Н.Гумилев, когда утверждал, что русские люди *искали* государственной службы. Не знаящие иного отечества кроме Москвы, они

*«стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, за которые полагалось “государево жалование”. <...> Эта оригинальная, непривычная для Запада система отношений власти и подчиненных была столь привлекательна, что на Русь стекались и татары, не желавшие принимать ислам под угрозой казни, и литовцы, не симпатизировавшие католицизму, и крещеные половцы, и меряне, и мурома, и даже мордва»<sup>26</sup>.*

С этим вполне можно согласиться — если, конечно, абстрагироваться от идеально-романтической интонации этого суждения.

Дисциплинирование сословий происходило, начиная с верхнего, дворянского; положение крестьян по отношению к дворянам было в известном смысле (имея в виду дисциплинарные практики) таким же, как положение дворян по отношению к государственной власти. И в том и в другом случае власть при помощи системы властных технологий обеспечивала не просто обязательность, неуклонность подчинения как такового, а обязательность *службы*. А.С.Панарин называет это *консенсусом служивого государства*.

Установление крепостного права было, таким образом, в известном смысле расширением технологических практик, уже существовавших в обществе, пере-утверждением определенной матрицы дисциплинарных отношений в новой сфере\*. С точки зрения отношений власти поместье для помещика или вотчина для вотчинника — то же, что крестьянский двор с землей для крестьянина: средство опосредования властных воздействий, средство дисциплинирования.

В развитии техноструктуры есть своя своеобразная диалектика. Кризис помещичьего хозяйства, разразившийся в XVI веке, повлекший и обусловивший (в различной мере) такие события, как опричнина, отмена крестьянских “отказов” (“Юрьева дня”) и Смутное время, мог быть преодолен лишь с приданием поместью статуса безусловного владения, собственности; но в этом случае поместье переставало быть средством дисциплинирования его владельца со стороны власти.

Равным образом крепостная зависимость, доведенная до максимума, фактическое уравнивание статуса крепостных крестьян и холопов, перестает быть средством дисциплинирования того рода, которым первоначально было прикрепление к *земле*. Последняя утратила (полностью или в значительной мере) статус опосредующего звена в отношениях зависимости, ретранслятора отношений власти. Все это становится очевидным, когда легализуется и расширяется практика продажи крепостных без земли.

И если перемещение центра русских земель из Киева на северо-восток было связано с утверждением статуса тер-

---

\* Теория “закрепощения сословий” отстаивалась представителями самых различных научных и идейных направлений, от историков “государственной школы” до П.Б.Струве, П.Н.Милюкова и Г.В.Плеханова, и подвергалась критике с самых различных углов зрения. К ней в принципе можно отнести все то, что было сказано выше в связи с дискуссиями по поводу “бродажничества” крестьян.

ритории, *земли* как определенного рода ценности, причем ценности безусловной, вполне сопоставимой с институциональной, функциональной ценностью великокняжеского стола в Киеве, — то развитие крепостного права было связано с утверждением незаменимости *работника*, человеческих, трудовых ресурсов.

Б.Г. Греков подчеркивал, что уже во времена непосредственно после Смуты

*«помещики становятся на ту точку зрения, что они служат с крестьян, а не с земли...»*<sup>27</sup>.

Уже тогда, по словам историка, “подготавливался переход исчисления доходности имения с количества распаханной земли на количество крестьянских душ”<sup>28</sup>.

“Закрепощение сословий” (автором идеи и понятия, насколько можно судить, является Б.Н. Чичерин) — это, возможно, не самый удачный термин для метапроцесса, поскольку он использует одно и то же понятие для обозначения и реального, буквального закрепощения крестьянства, и метафорического “закрепощения” служивых людей, прежде всего дворян. Ясно, однако, что на Руси шел единый процесс дисциплинирования населения властью — дисциплинирования *в* пространстве и *через* пространство, процесс, различные стороны которого были взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Важно не только понять алгоритм развития России: маятникообразное движение от свободы к рабству (как писал об этом Чаадаев), то есть к закрепощению крестьян (что опять-таки можно рассматривать в контексте “закрепощения сословий”, так как крепостное право было необходимым условием выполнения дворянами своих обязательств по государственной службе), затем (новая фаза движения исторического маятника) от рабства к эмансипации (через тесно связанные исторической логикой 1772 и 1861 годы) и снова от эмансипации к несвободе, полицейскому государству, тоталитаризму... Не менее важно установить зависи-

мость верхних точек этого маятникообразного движения от технологических и институциональных реалий.

Ликвидация крепостного права, впрочем, не означала уничтожения механизмов локализации; просто на первый план естественным образом выдвинулись иные технологии. Крепостное право уходит — и на первое место выходит одна из технологий второго ряда, община и круговая порука. Именно к общине после 1861 года переходит роль инструмента и гаранта локализации сельского населения: владение и пользование общинной землей связано с постоянной оседлостью в общине. Можно спорить о том, когда и как складывается община и правомерно ли категоричное мнение о том, что “общинный быт мог начать вырабатываться в дворянских населенных имениях лишь в XVIII веке, когда крепостные, приписанные к этим имениям, были привлечены к участию в государственных и земских повинностях”<sup>29</sup>, но связь и некий параллелизм между формированием общины как локального микрокосма власти и тотальной практикой локализации, нашедшей свое выражение в закрепощении крестьян, очевидны.

В период осуществления столыпинской реформы была предпринята попытка сломать архаические технологии локализации, однако к 1917 году этот процесс далеко еще не был завершен. А вскоре после Октябрьской революции были созданы новые механизмы локализации, адекватные тоталитарной системе. На место общины вскоре становятся колхозы — а среди инструментов локализации на первый план выдвигается усовершенствованная паспортная система (которая до революции фиксировала главным образом крепостную зависимость). Технологическая машина действует, извлекая из социальной реальности, актуализируя элементы различных практик и технологий, но в целом достигая при этом желаемого результата. Так что несмотря на изменение набора наличных средств технологического воздействия, их суммарный эффект должен всегда оказываться достаточным для поддержания оперативного статус-кво, сохранения состояния локализации, иерархизации и т.д. *тех-кто-под-властью*.

## *Паспортная система и прописка: институт и технология*

Вопреки распространенным представлениям паспортизация населения в целях контроля его перемещений не была изобретением тоталитарного режима. Аналог паспорта появляется в России уже в XV веке, когда возникает необходимость отделить ремесленников и торговцев, путешествующих с законной целью, от нищих, бродяг и беглых. Петр I, не только “поставивший Россию на дыбы”, но и попытавшийся по-новому дисциплинировать ее, в 1714 году издал указ, по которому лица, не имеющие при себе паспортов, признавались за “недобрых людей”, или за “прямых воров”. В имперской России существовал достаточно жесткий механизм паспортного контроля; нарушение установленных правил, инструкций и запретов каралось чрезвычайно жестко. Так, если исходить из данных, приводимых в многотомной работе М.Н.Гернета, в 1829 году число заключенных за так называемые *паспортные преступления* (непрописка паспортов, просрочка их, проживание по чужому паспорту, подделка паспортов, отсутствие паспорта и т.п.) в Перми составляло 59% всех содержащихся в тюрьме, в Архангельске — около 50,9 %, в Орле — 16% и в Вологде — 8%<sup>30</sup>. В Петербургской городской тюрьме в том же 1829 году из 4543 заключенных (3858 мужчин и 685 женщин) 215 человек (4,7%) обоего пола содержалось за неимение паспорта, его утрату и т.д.<sup>31</sup>. В то же время в так называемых *съезжих домах* при полиции содержалось за паспортные преступления: в Перми — 7,1%, в Орле — 3,7%, в Кронштадте — 2,1%, в Архангельске — 1,6%, в Вологде — 1,0%<sup>32</sup>.

Из этих данных, свидетельствующих в целом о значительном числе наказываемых за нарушения паспортных установлений, следует, помимо всего прочего, и то, что этого рода правонарушения считались достаточно серьезными — большая часть нарушителей направлялась не в съезжие дома при полиции, а в более серьезные и приспособленные для

длительного содержания заключенных заведения, проще говоря, тюрьмы. Все это вполне понятно: система, где подавляющее большинство населения должна быть жестко локализована (крепостные, женщины, евреи и др.), не могла иметь либеральных паспортных установлений.

В связи с реформами 60-х годов XIX века, и в особенности в конце века, после 1894 года, происходит определенная либерализация паспортного режима. По паспортному уставу 1894 года в России, по сути дела, была разрешена свобода передвижения для большей части населения; было установлено, что вид на жительство служит удостоверением личности, а равно и права на отлучку из места постоянного жительства в тех случаях, когда это право должно быть удостоверено. В 1906 г. были упразднены различия между всеми видами паспортных документов (до этого представители привилегированных сословий имели особого рода бессрочные паспорта). Наконец, в 1914 г. последовал закон о раздельном жительстве супругов: замужние женщины, независимо от возраста, могли получать отдельный вид на жительство без согласия мужа. Что касается прописки, то есть, собственно, вида на жительство, то в конце века она носила уведомительный характер и фиксировалась в домовых или гостиничных книгах. Паспорт как таковой не был необходим для нормальной жизни. Так А.П.Чехов долгое время не имел паспорта, и лишь в начале 1890-х годов, когда в связи с очередными административными нововведениями его перестали прописывать в московских и питерских гостиницах по университетскому диплому, решил обзавестись паспортом. Писатель не нашел ничего лучшего, как фиктивно оформиться на государственную службу внештатным врачом без жалования с тем, чтобы через месяц подать в отставку и в качестве отставного чиновника получить паспорт.

Либерализация паспортной системы происходила, впрочем, не автоматически: требование отмены внутренних паспортов и гарантия свободы передвижения было одним из заметных требований либерального и револю-



ционно-демократического движения конца XIX — начала XX веков.

Система внутренних паспортов после Октябрьской революции действительно рухнула, но не вследствие демократичности новой власти, а скорее из-за всеобщего развала и неразберихи. Частичным возрождением механизма принудительной локализации (материализацией которого был институт крепостного права) стала сначала (в годы гражданской войны) система трудовых книжек, а затем введенный в СССР в начале 30-х годов паспортный режим, фиксирующий неравноправие различных групп населения в отношении перемещений внутри страны, а также пресловутый институт прописки. Эти акции означали своего рода погружение в пучины технологической архаики и представляли собой значительный шаг назад от тех практик и механизмов правового гражданского общества, которые сложились в России к середине первого десятилетия XX века.

В итоге технологическая пара “паспорт — прописка” создает машину власти\*, которая оказывается способной выполнять те функции, которые до 60-х годов прошлого века выполняло крепостное право<sup>33</sup>.

Если соотнести практику локализации населения в России/СССР/России с конструкцией паноптикона, которую мы условились рассматривать как некую квинтэссенцию технологий власти, устройство, обнаруживающее, про-являющее, сложившуюся в данном пространстве власти технологическую систему, то это будет многослойная и имеющая существенное пространственное измерение конструкция, где, во-первых, власть (персонализированная фигурой *наблюдателя-на-вышке*), с одной стороны, стремится обеспечить определенный гарантированный уровень локализации индивидов, включенных в данную

---

\* В данном случае я под машиной власти подразумеваю механизм взаимодействия двух или более властных технологий, особенно если эти технологии обладают качеством взаимодополнительности.

систему, во-вторых, где она не в состоянии добиться абсолютной (или хотя бы *абсолютно контролируемой*) локализации индивида в пространстве, и наконец, в-третьих, где эта власть заинтересована не столько в *абсолютной локализации*, сколько в *полном контроле* за перемещениями индивидов в пространстве власти.

Продолжая метафору, мы увидим, что паноптическая конструкция предполагает как бы два уровня локализации. Первая ограничивает пространство власти как таковое (его границей оказывается внешняя стена кольцеобразной конструкции), вторая ограничивает отведенное конкретному индивиду *место*, фрагмент “персонального” жизненного пространства *внутри* общего пространства власти.

В обществе двум этим уровням локализации соответствуют локализация в рамках глобального пространства власти (предполагающая наличие технологического инструментария, регулирующего перемещение за пределы этого пространства или через границы государства вообще, эмиграцию в частности) и локализация во “внутреннем” пространстве власти (системы технологий, в российской истории включавшие механизмы крепостного права, прописки и т.д.).

О механизмах *прикрепления* мы уже говорили. Остановимся теперь на втором уровне локализации, локализации в глобальном пространстве власти как таковом (его границей, как уже было сказано, является внешняя стена кольцеобразной конструкции), предотвращении возможности выхода за рамки этого пространства.

Как известно, в течение длительного времени Россия, в силу своего географического положения и особенностей исторического развития, была страной достаточно закрытой для иностранцев, а внешний мир был по большей части закрыт для русских. Лишь во второй половине XVII века молодые русские дворяне начинают эпизодически отправляться за границу для пополнения образования и практических знаний.

На протяжении следующего, XVIII столетия технологический маятник, колеблющийся в соответствии с изменениями во взаимоотношениях индивида с властью по поводу условий пребывания этого индивида во внутреннем пространстве власти, совершает полный оборот. В начале века Петр I, сделавший модернизацию России по западному образцу стержнем своей политики, *понуждает* молодых дворян отправляться на учебу в Европу; в конце того же века Павел I вовсе запрещает выезд из России за границу.

Тем не менее в следующем, XIX веке выезд из страны становится сравнительно несложным делом. В николаевскую эпоху возможности выезда пытались ограничить (царь угрожал лишить дворян, учившихся за границей, права поступать на казенную службу, затем потребовал, чтобы дворяне ограничили свое пребывание за границей пятью годами, а в 1851 году в самом деле сократил этот срок до пяти лет). Однако предполагается, что эти меры не имели серьезного влияния на заграничные поездки русских. Так или иначе, для получения заграничного паспорта надо было лишь подать прошение губернатору и заплатить небольшую пошлину, причем паспорта выдавались даже лицам, замеченным в предосудительной деятельности и недоброжелательном к властям предержащим отношении — предполагалось, что, будучи выдворенными за границы империи, они принесут меньше беспокойства. При этом число видных эмигрантов, по тем или иным причинам решившим не возвращаться на родину, было крайне незначительно (Герцен, Огарев...). Что касается таких явлений, как переселение — своего рода эмиграция — секты духоборов в Канаду, то они заслуживают отдельного разговора.

Вообще становление современной европейской демократии в XIX веке расширяло возможности человека перемещаться внутри страны и из страны в страну, причем для этого совершенно не обязателен был документ типа паспорта. Накануне первой мировой войны европейцу не нужно было даже никакого удостоверения личности, что-

бы поехать из одной страны в другую (паспорт требовался лишь для поездки в Америку, Турцию и *Россию*). В путеводителе Бедекера, издание 1911 года, говорилось о Лондоне: “В Англии паспорт не нужен, разве что на случай, если придется получать заказные письма или корреспонденцию до востребования”<sup>34</sup>.

Вот некие личные реминисценции Луиджи Бардзини, известного итальянского писателя и журналиста:

*«Когда к моему отцу в номер мюнхенской гостиницы — дело было в 1910 году — явились полицейские, которые разыскивали некоего опасного анархиста, у отца не оказалось с собой никаких документов, удостоверяющих его личность. Тогда он достал из кармана письмо, на котором стояло то же имя, что и начертанное рукой портного на этикетке его брюк и на внутреннем кармане; полицейские попросили извинения и ретировались»*<sup>35</sup>.

Россия в этом отношении была и не была исключением. Примеры челночного перемещения русских революционеров (до Ленина включительно) через границу лишнее тому свидетельство.

Разумеется, отсутствие паспортов само по себе не является признаком ни свободы, ни несвободы перемещения, как не является свидетельством их отсутствия. Вспомним современных американцев, пересекающих канадскую границу по водительским правам и регистрирующихся в гостинице под любым симпатичным им именем, но без предъявления каких бы то ни было документов; вспомним и советских колхозников, для которых отсутствие паспорта было почти непреодолимым препятствием для того, чтобы покинуть неблагополучные, голодные сельские районы и перебраться в город.

Кстати, зерна некоторых тоталитарных технологий были брошены в почву в ходе революции предыдущей, демократической. Так после Февральской революции 1917 года Исполком Петроградского Совета и Временное правительство воспрепятствовали выезду Николая II и его семьи в Англию (что готов был осуществить Керенский). Суханов

пишет в своих мемуарах о том, как Исполком Петросовета принял решение *изолировать* Николая II и его семью в Царскосельском дворце и *прикрепить* прочих Романовых к каким-нибудь их усадьбам, решение, которое, как оказалось, стоило царю и его семье жизни<sup>36</sup>. Аналогичным образом большевики удерживали смертельно больного А. Блока<sup>37</sup> (речь идет, разумеется, о периоде, когда выезд из страны в принципе еще не был запрещен; произвол локализовался в решении о том, кого можно выпустить, а кого, *в интересах революции*, задержать).

После Октябрьской революции и гражданской войны, как известно, последовал всплеск эмиграции — и затем она была практически запрещена, возобновившись в масштабах, заслуживающих серьезного внимания, лишь в эпоху “после Хрущева”.

С созданием механизма, контролирующего способы перемещения за рамки глобального пространства власти, осуществляется мечта Бентама о превращении локализованной в пространстве и относительно закрытой дисциплинарной конструкции (типа паноптикона) в дисциплинарную сеть, пронизывающую все общество снизу доверху. И любой сектор пространства власти, перемещение за пределы которого ограничивается или запрещается, в известной степени приобретает качества бентамовского паноптикона: черта оседлости, особая зона, закрытый город, острова, с которых видны башни на территории соседнего государства, наконец, государство, выехать за пределы которого можно, лишь пройдя выездную комиссию в райкоме партии и оставив в качестве заложников семью, и т.п.

## 2. Машина депортации

В широком смысле слова депортация — это принудительное перемещение значительной массы людей. Но в отличие, скажем, от угона людей в рабство, в плен, на принудительные работы (как это было с миллионами граждан

СССР после оккупации значительной части территории страны фашистской Германией), когда ценность представляли люди как потенциальная рабочая сила, а сами акции по перемещению носили чисто прагматический, утилитарный характер, смыслом депортаций как глобальных операций власти часто является выживание власти как таковой, утверждение необходимой для этого выживания (в действительности или в представлении власти) неограниченной возможности перемещения людских масс либо, в известных случаях, профилактика потенциально негативных с точки зрения власти событий или состояний. Иными словами, депортация как технологическая операция всегда следовала логике прежде всего властной, а затем уже экономической.

Презумпция локализации предполагает, что необходимые для власти перемещения населения в границах государства и за его пределы могут осуществляться только по произволу данного государства и в рамках тех матриц власти, при помощи которых контролируется данное пространство. Презумпция депортации заключается в том, что право населения спокойно существовать в местах проживания является условным и также соблюдается или не соблюдается в зависимости от произвола власти.

Депортации были общей практикой во многих европейских странах, начиная по крайней мере с XIII века. Объектом депортаций в европейское средневековье и в Новое время становились евреи, арабы, ирландцы, курды, армяне...

Наиболее впечатляющими примерами перемещения значительных масс населения в пространстве власти явились депортации XX века. Только в предвоенные, военные и послевоенные годы были депортированы немцы — из Восточной Европы (после войны), венгры — из Чехословакии (1945 год), украинцы — из Польши (после окончания войны), поляки — с входившей в состав Украины Волыни (1942—1943 гг.), сербы — из Воеводины, входившей в состав оккупированной Гитлером Югославии (1941—1942 гг.), а также из Болгарии (в годы войны), японцы, как уже было ска-

зано, — с Курил, венгры — из той же Воеводины (конец 80-х — начало 90-х годов)...

В России уже при Иване Грозном укоренилась практика *вывода* людей из одного города в другой; появилось даже особое понятие — гостей *веденых*. Множество новгородцев вывели из города после его разгрома Грозным. Аналогичным образом поступали и с жителями Пскова. Так в 1555 году свели в Казань опальных псковичей десять семейств, в 1569 году царь взял из Новгорода 150 семей и из Пскова 500 семей; в 1572 году поехало из Новгорода в Москву из земщины гостей веденых сорок семейств да из опричнины шестьдесят семейств...<sup>38</sup>.

Поскольку главным регулятором российской колонизации был центр, то по приказу из Москвы, позже из Санкт-Петербурга могли быть переселены “за Камень”, за Урал, на сибирские просторы целые деревни, а порой и города. (Н.И. Костомаров отмечает, что после убийства царевича Дмитрия в Угличе и розысков, предпринятых следственной комиссией Василия Шуйского, по словам одного из современников, “...иных казняху, иным языки резаху, иных по темницам разсылаху, множество же людей отведоша в Сибирь и поставиша град Пелым и ими насадиша и от того ж Углич запустел”<sup>39</sup>.)

Причем *запустение* могло быть не только следствием принудительного перемещения населения из города — оно могло быть результатом попыток уничтожить тот или иной город как таковой. В 1705 году, когда, в условиях борьбы со Швецией на северо-западе и Турцией на юге, казачья вольница, подрывавшая основы дисциплинарной государственности, показалась Петру I более нетерпима, он велел “свесть” казачьи города, построенные не по указу, не на больших дорогах, и жителей их поселить по большим дорогам, и никаких беглецов не принимать, а всех пришлых людей, которые пришли после 1695 года, отсылать в русские города, откуда кто пришел. Оказалось, что указ этот не исполняется, и он был *повторен*, чем была подтверждена его

важность, снова не исполнялся, и тогда Петр направил на Дон для отыскания беглых и высылки их на прежнее место жительства войска под началом полковника Юрия Долгорукого. (Заметим в скобках, что на отряд Долгорукого внезапно напали казаки под предводительством атамана Кондратия Булавина, перебили весь отряд во главе с полковником — так началось вошедшее во все учебники восстание Булавина<sup>40</sup>.)

В дореволюционной истории России мы находим и ряд примеров депортаций этнических. После подавления башкирского восстания 1755 года в Москву было отправлено более тысячи башкирских женщин с малолетними (до 12 лет) детьми для распределения по фабрикам внутри государства<sup>41</sup>.

Первые опыты по созданию военных поселений (имевшие место еще до Отечественной войны 1812 года) предполагали *выселение* государственных крестьян с их исконных земель (в частности, из Могилевской губернии в Новороссийский край) и размещение воинских частей на освобожденных таким образом землях<sup>42</sup>. (Впоследствии поселение солдат связывалось не с переселением крестьян, а с изменением их статуса, превращением их из государственных крепостных крестьян в военных поселенцев.)

Практика создания военных поселений свидетельствует, что крепостная зависимость и связанная с ней технологическая система была не самым жестким способом обращения с *теми-кто-под-властью*. В процессе создания военных поселений отмечается немало восстаний и волнений; несмотря на то, что крестьяне, становившиеся военными поселенцами, освобождались от крепостной зависимости, они ощущали общее ухудшение своего положения и в связи с военной муштрой и, что, по-видимому, главное, с утратой своей земли (не случайно одним из лозунгов крестьянских волнений, и в частности знаменитого восстания чугуевских военных поселенцев, было возвращение им *отнятых земель*).

Однако перемещение людских потоков регулировалось и другими способами. Так император Петр III, осчастливив-



ший правящее сословие манифестом “О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству”, в недолгие 186 дней своего царствования разрешил помещикам без специального дозволения переселять принадлежащих им крестьян из одного уезда в другой. Утвержденный в 1822 году Александром I указ “Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение” не просто расширил права помещиков, но, по сути дела, легализовал практику депортации. Впрочем, в данном случае речь идет не о массовых, а о, так сказать, индивидуальных депортациях (хотя, очевидно, в результате крестьянских волнений могли выселяться и выселялись достаточно компактные и многочисленные группы людей).

Кстати, стоит отметить методы фактического осуществления акта депортации: скажем, в Сибирь до постройки Сибирской железной дороги осужденные отправлялись пешком по этапу (чаще всего закованными в кандалы), и лишь после завершения строительства транспортировались в специальных вагонах. Каждый шаг этапирзуемых в направлении от центра на восток или от центра на север воспроизводил статус преодолеваемой территории как пространства власти и являлся своего рода реконкистой, пере-завоеванием властного пространства.

Модель организации военных поселений, опробованная Аракчеевым до 1812 года и отвергнутая впоследствии, и практика “отсылки людей в Сибирь за дурное поведение” были возрождены в начале 30-х годов следующего, XX века с созданием так называемых спецпоселений (спецпоселков), в которых содержались раскулаченные и выселенные из районов коллективизации крестьяне и их семьи. Причем, как справедливо отмечает А.И.Добкин, занимавшийся проблемой так называемых “лишенцев” (то есть граждан, лишенных избирательных прав), людей, отнесенных к этой категории, начали выселять из деревень задолго до коллективизации и раскулачивания, и основные механизмы выселения были отработаны еще до “великого перелома”<sup>43</sup>.

В последние годы опубликовано немало документов, проливающих свет на условия жизни спецпереселенцев, а также нормативных документов ОГПУ и Совнаркома, регулирующих организацию производственного использования спецпереселенцев<sup>44</sup>.

Первичность технологических аспектов депортации и вторичность резонанса экономических хорошо видна, во-первых, из многочисленных свидетельств об из рук вон плохой организации производственного использования спецпереселенцев (что постоянно отмечается в приказах ОГПУ и заключениях различных комиссий), а также из самой постановки вопроса властью: «Ввиду технической невозможности переселения 150 000 кулацких семейств в районы Казахстана, признать возможным расселение в текущем году в первую очередь в районах Казахстана 60 000»<sup>45</sup>. Количество депортируемых, цифра с тремя нулями, — первично, экономические контексты акции — второстепенны; масштаб хозяйственных задач определяется в соответствии не с экономической логикой, а в зависимости от масштабов карательных мероприятий власти.

Спецпереселенцы подвергаются жесткой локализации: спецпоселения — это почти лагеря. Вот описание одного из таких поселков, созданного близ города Котласа:

*«Сотни две барачков, крытых соломой и землей, раскинулись недалеко от железной дороги среди жалкого сосняка. В лагере уже поселены десятки тысяч людей всех возрастов, и каждый день прибывают все новые и новые эшелоны. В каждом барачке ютится двести с лишним душ. Теснота ужасная: днем толкотня в проходе между нарами, ночью люди лежат на нарах вплотную друг к другу, как сельди в бочке, многим на нарах не хватает места и они сидят на земляном полу...»<sup>46</sup>.*

Описание спецпоселка в Казахстане:

*«...Все мы были отправлены на лошадях на станцию, там погружены в товарные вагоны и выгружены на станции Оskarовка под Карагандой. Там уже был огорожен колючей проволокой огромный участок, были воздвигнуты вышки, на которых де-*

*журили часовые с пулеметами и винтовками. <...> Голое место, никаких палаток, никаких шалашей. Воду подвозили в бочках, за ней стояли страшные очереди. <...> К зиме люди рыли землянки и размещались в них»<sup>47</sup>.*

Спецпоселенцы, как и обычные лагерники, полностью зависят от работы государственного механизма распределения, начиная порой с воды (как это было под Карагандой). После передачи административно-организационного управления спецпоселками ГУЛагу при ОГПУ режим поселков еще более приблизился к лагерному, включая и механизм снабжения продуктами. Положение с продовольствием было от очень плохого до трагического; как писал в докладной записке один из высших руководителей ГУЛага вышестоящему начальству, «в поселках, где мне пришлось побывать, бесконечные вопли “дайте хлеба”»<sup>48</sup>.

Спецпереселенцы были подвергнуты ритуалу исключения в полной мере: они были лишены не только гражданских прав, избирательного права и т.д., но и элементарных человеческих прав: местные жители, желавшие вступить в брак со спецпереселенцами или спецпереселенцами, вынуждены были писать заявления с соответствующим ходатайством в органы ОГПУ и инспекторам по спецпереселенцам при райисполкомах, а те им разрешений не давали, поскольку не было “установки” центра.

Распоряжение трудом спецпереселенцев было произвольным. Прочитирую документ, вышедший из недр ВСНХ и адресованный председателю СНК Молотову:

*«Главн. Упр. Испр. Труд. Лагерями ОГПУ по особому соглашению передает в распоряжение Союзлеспрома 530.325 человек спецпереселенцев (125 т. семей). По уточнению, цифра принята = 625 т. чел. <...> Продснабжение их возлагается на Союзлеспром. <...> Между тем, с мест поступают сообщения (Урал, Казахстан), что для питания прибывающих спецпереселенцев фондов на местах не имеется»<sup>49</sup>.*

Этнические депортации осуществлялись в СССР как в период непосредственно до, так и сразу после второй ми-

ровой войны. До войны объектом депортации стали сначала финны, затем прибалты: латыши, литовцы, эстонцы... После войны — крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, советские немцы... Также после окончания второй мировой войны была осуществлена депортация в Японию всех лиц японской национальности с Сахалина и Курильских островов.

Рассматривая практики депортации, мы снова сталкиваемся с умением и стремлением власти *создать пространство чумы в пространстве исключения*.

Кроме того, мы можем отметить, что механизм “*локализация + депортация*” образует одну из *машин власти*: за депортацией следует жесткая локализация депортированных, с другой стороны, именно локализация дает власти возможность распоряжаться жизнью тех, кто становится ее объектом, вплоть до произвольного их перемещения в пространстве.

### **3. Лишение избирательных прав: технологии исключения в России/СССР/России**

Фуко в качестве идеального примера ситуации исключения приводит пример больных проказой (в те годы, когда М. Фуко писал книгу “Надзирать и наказывать”, СПИДа еще не было). В XIII—XIV вв. прокаженных в Западной Европе *отпевали живыми*; под страхом смертной казни они не смели входить в общение со здоровыми. В качестве *реального* населения пространства исключения Фуко называет нищих, воров, проституток, палачей, комедиантов и т.д.

Аналогичные группы населения становились объектом исключения и в России, в частности в Московской Руси. В жалованных грамотах XV века присутствуют положения, запрещающие представления бродячих скоморохов и “смычников” в селах и деревнях: “также и скоморохи у них в тех в их селех не играют”<sup>50</sup>. Стоглав — сборник решений Стогла-

вого собора 1551 года — также запрещает приглашать на свадьбы скоморохов, гусельников и “глумов”. Причем наиболее рьяным гонителем скоморошества оказался сам царь Иван Васильевич.

Равным образом воспрещались *хождения* так называемых *попрошаев*, бродячих, то есть не имеющих постоянного места нищих.

Наконец, согласно решению Стоглавого собора бездомные старики и *прокаженные* должны были помещаться в специальных богадельнях, где над ними устанавливался специальный надзор.

Надо заметить, что палач, очевидно, не был в России уникальной фигурой; не следует представлять себе дело так, будто в крупных русских городах, подобно городам западноевропейским, был лишь один штатный, *городской* палач (вспомним, кстати, Дюма и мрачного лилльского палача). По свидетельству Г. Котошихина, во времена Алексея Михайловича в московском разбойном приказе на годовом жаловании находилось 50 *запленных мастеров*<sup>51</sup> (при этом надо учитывать, что в Московской Руси запленные мастера, палачи не только казнили, но и участвовали в дознании, то есть пытали).

Весьма вероятно, что отношение к палачам и жесткость механизмов исключения была в России существенно иной, нежели в Западной Европе. Так сохранилось свидетельство о московском бунте 1547 года. Когда царь и его двор скрылись в селе Воробьево под Москвой, туда толпой, “скопом”, причем вооруженными, двинулись горожане по призыву *палача*<sup>52</sup>. В Западной Европе подобный поворот событий представить было довольно сложно. Известный историк, специалист по эпохе Ивана Грозного А.А. Зимин высказал даже мнение, что палач должен был “привести в исполнение волю народа”, казнить родичей царя, ненавистных бояр Глинских. Это, я полагаю, является данью историка идеологемам эпохи, недалеко отстоящей от эпохи сталинской (работа Зимина была опубликована в 1958 году); характерно, что он высказывает даже предположение о возникнове-

нии в ходе восстания “зачатков правительственного аппарата”<sup>53</sup>, как бы привнося тем самым в достаточно архаические исторические сюжеты дух первых Советов и “Государства и революции”...

В каком-то смысле практика исключения на Руси была более выпуклым проявлением технологий исключения, нежели аналогичные практики, существовавшие, например, в средневековых городах Западной Европы. Как свидетельствуют некоторые весьма серьезные исследования, там элементы населения, подвергшиеся исключению из массы городских жителей, после этого все же становились объектом многообразных и весьма разработанных дисциплинарных технологий<sup>54</sup>. Так если говорить о нищих, то имело место ограничение притока “пришлых” нищих в пользу “своих”; “официальным” нищим надлежало иметь на одежде специальный знак, а тем, кто стыдился своего положения, — соответствующий документ, “удостоверение”; зарождалась система благотворительности, опять-таки рассчитанной на “своих”, — раздача одежды, денег, хлеба (так называемые “столы для нищих”), усиливался городской контроль за раздачей милостыни, особенно духовными институтами; нищие, как и бродяги, используются на своего рода “общественных работах” — строительстве собора, гавани, городских стен, получая при этом плату от магистрата и т.д.

На Руси же дисциплинарные механизмы того типа, который был характерен для Нового времени, формируются чрезвычайно поздно, и существование всех вытесненных в пространство исключения регулируется предельно жесткими технологиями, типичными для “культуры наказания”.

По мере того, как мы отдаляемся от обитателей классического, идеального пространства исключения и включаемся в реальное пространство исключения, мы все чаще имеем дело с исключением не столь абсолютным, с исключением фрагментарным, частичным, ситуативным и т.д. Чаще всего мы сталкиваемся с ситуацией, когда индивид исключается не из социума как такового, а из какого-то про-

странственного или социального *измерения* этого социума. В известном смысле исключение — это социальная локализация, но локализация не внутри, а как бы снаружи пространства повседневной жизни.

Подобным образом на Руси до петровских времен локализовались и исключались из русских локусов и микрокосмов иностранцы: “...в каменный же гостиный двор заморских немцев никак не пускать...”<sup>55</sup>. Скажем, в 1646 году английским купцам указано было — не появляться в Москве и торговать у *Архангельского города*, ибо

*«прежде торговали вы по государевым жалованным грамотам, которые даны вам по прошению государя вашего английского Карлуса короля для братской дружбы и любви; а теперь... англичане всей землей учинили большое злое дело, государя своего Карлуса убили до смерти: за такое злое дело в Московском государстве вам быть не довелось»*<sup>56</sup>.

Аналогичным образом происходило исключение еврейского населения (от видимой пространственной локализации, черты оседлости и т.д. до социальной локализации, ограничивающей или закрывавшей евреям доступ ко многим занятиям и профессиям, обучению в высших учебных заведениях).

Практики частичного исключения оказались, кстати, весьма стойкими и жизнеспособными — в самых развитых государствах даже сегодня можно встретить достаточно одиозные рецидивы средневековья. Один из наиболее известных примеров такого рода в современных развитых странах — ситуация *буракумин* в Японии (проблема, которой автор в свое время уделил некоторое внимание).

В послеоктябрьский период мы можем проследить развитие некоторых технологий, соединяющих в себе одновременно и черты практики исключения, и черты практик изоляции и локализации. Скажем, в первые годы советской власти в Суздале, Верхнеуральске, Ярославле и в ряде других мест появились так называемые “политические изоляторы”. Этот институт рассматривался как гуманный метод устранения из обще-

ственной и политической жизни членов оппозиционных политических фракций, разного рода “уклонистов” и т.п. Знаменитая революционерка Вера Фигнер писала в 1928 году Е.Ярославскому: “Мне стыдно, п<отому> ч<то> и теперь существуют изоляторы, в кот<орых> должны оставаться социалисты 5 и даже 10 лет...”<sup>57</sup>. Есть свидетельства того, что еще в начале 30-х годов обращение с заключенными в политических изоляторах было мягче, чем в обычных тюрьмах. Однако с нарастанием волны террора во второй половине 30-х эти различия исчезли<sup>58</sup>. Как представляется, оказалось невозможным одновременно удерживать какую-то группу людей вне границ власти (что характерно для практики исключения) и наказывать их, помещая в пространство наказания “внутри власти”; естественным образом момент исключения в системе политических изоляторов сошел на нет, и они превратились в обычные российские тюрьмы.

Однако, когда мы говорим об исключении, речь идет не только о перемещении за пределы некоего чувственно воспринимаемого пространства — имеется в виду и исключение из пространства социальной жизни. В России/СССР XX века одним из наиболее ярких примеров такого рода стала практика лишения избирательных прав. Известен тезис Ленина:

*«Избирателями являются трудящиеся и эксплуатируемые массы, буржуазия исключается»<sup>59</sup>.*

Однако на практике “исключалась” не только буржуазия, но широкие слои, к которым большевики относились с предубеждением и подозрительностью: бывшие офицеры, священнослужители, ремесленники, члены семей *классово чуждых*, лица, дослужившиеся при царском режиме до определенных чинов в табели о рангах, сектанты, лица, живущие на нетрудовые доходы или даже имевшие такие доходы (например, в виде дивидендов по акциям) до революции и т.д.

Списки лишенцев составлялись исполкомами местных советов и вывешивались в местах голосования (скажем, на



заборах), публиковались в печати, а в ряде мест издавались отдельными изданиями<sup>60</sup>.

Замечательна, в контексте основной проблематики нашего исследования — технологии власти в *российской* истории, — мысль Ленина о том, что “вопрос о лишении эксплуататоров избирательного права есть чисто *русский вопрос*”<sup>61</sup>. Действительно, вопрос этот может рассматриваться как чисто русский — но точно в такой же степени, в какой может считаться чисто русской *вся* та машина власти, которая была создана после 1917 года.

Следует отчетливо понимать, что лишение избирательных прав, практиковавшееся в послереволюционный период (с 1918 по 1936 годы), означало не только поражение в гражданских правах, но, как справедливо отмечает публикатор большого блока материалов о лишенцах, безработицу, выселение из квартиры и города, лишение продуктовых карточек, медицинской помощи и пенсии, изгнание детей из школы, потерю друзей и отчуждение сослуживцев и родных; лишенцы не могли быть членами профсоюза и работать в органах власти; после 1933 года, когда началась паспортизация, лишенцы не могли прописаться в больших городах ни при каких условиях<sup>62</sup>.

Я отчасти согласен с мнением А.И.Добкина о том, что

*«в лишении избирательных прав не было и не задумывалось прямого политического смысла (т.е. у большевиков не было реальных причин опасаться поражения на выборах со стороны тех, кто находился у власти до революции)»*<sup>63</sup>.

Лишение избирательных прав необходимо было для утверждения определенной технологической модели в целом, для создания технологической властной ткани, в которой не может быть прорех или разрывов, связанных с конъюнктурными политическими соображениями и так называемой политической “целесообразностью”. В этом плане вопрос о необходимости подобной системы практически не связан с проблемой политических перспектив реставрации (осуществляемой при помощи избирательного бюллетеня)

ня) — мера насилия впрямую не связана с потенциалом сопротивления; более того, в тоталитарном обществе, к которому неуклонно двигалась Россия после 1917 года, насилие и сопротивление находились в весьма специфической корреляции, которую В.А.Подорога назвал “тоталитарной симметрией”: *в такого рода обществе всегда должен существовать избыток насилия и недостаток сопротивления*. Вместе с тем можно было бы поспорить с А.И.Добкиным относительно того, стоило большевикам опасаться политических последствий *не*-ограничения избирательного права или нет, — но в этой книге этого не хотелось бы делать, чтобы не втягиваться в некий политический дискурс, в известной мере противоречащий попыткам рассматривать власть, заглянув под привычную для нее политическую маску.

Исключение — это технология, которая устанавливает связь власти не только с теми, кто непосредственно подвергается исключению, но и с теми, кто составляет с последними своеобразную бинарную оппозицию, классом не-исключенных, — не-исключенных, но также стоящих *под* властью. Подвергается воздействию их сознание и поведение, свидетельством чему стало огромное количество доносов на лишенцев или на тех, кого, по мнению доносителей, следует включить в их число. В последние годы российскими историками проделана значительная работа с архивными материалами, свидетельствующая о массовых попытках выйти из пространства исключения, добиться отмены решений о лишении избирательных прав (значительный массив документов такого рода обработан в последние годы сотрудниками Мосгорархива).

Как мы убедились, рассматривая генезис крепостного права в России, дисциплинированию обязательной службой подвергаются сначала *блуждающие* по Руси дворяне, затем (обязательным трудом в строго фиксированном месте) *бродяжничающие* крестьяне, затем — предающиеся расслабленности и блуду монахи... Шатающиеся по дорогам Руси бродяги все-речь начинают интересовать власть лишь *после* закрепощения

крестьянства, поскольку возможность свободного бродяжничества подрывает основы крепостной системы.

Но власть не только дисциплинирует тех, кто находится, по терминологии Фуко, в *пространстве исключения*, кто затерян в массе неструктурированной, в массе без каких-либо различий, и, дисциплинируя, помещает их в пространство власти. Она также использует исключение как практику наказания тех, кто располагается в пространстве власти, но должен быть или исключен из него, или утратить свое положение в социальной иерархии. Отрицая абсолютное исключение, распространяя дисциплинарные практики на бывших “прокаженных”, власть одновременно практикует исключение (особенно частичное) из существующего дисциплинарного пространства, в котором находится тот или иной индивид. Ритуал исключения продолжает существовать на фоне усиления дисциплинарного начала. Через него проходят декабристы (лишенные воинских званий, титулов, наград, сословной принадлежности и т.д. — те же *лишenci*), но через него проходит множество людей и в советское время, и в определенном смысле судьба генерала Петра Григоренко мало отличается от судьбы князя С.П.Трубецкого или И.Д.Якушкина.

В XIX—XX веках исключение уже не является столь абсолютным и сочетается с иными технологическими операциями (локализацией, депортацией и т.п.); и *пространство исключения* в более близкий к нам период уже не совсем то, что ранее, — оно превращается скорее во второй слой, *alter ego* пространства власти. Исключение в XIX или XX веке — это скорее принудительное перемещение из одного пространства власти в другое (а не исключение из него), часто имеющее следствием также принудительное перемещение из одного географического пространства в другое. Однако *ритуал* исключения в принципе сохраняется, исключение выживает как глобальная операция, в свою очередь необходимая власти для собственного выживания и эффективного функционирования.

В наиболее либеральный период русского самодержавия, то есть после 19 февраля 1861 года, власть продолжает использовать механизм исключения, причем зона исключения имеет как пространственное, так и социальное измерение. Существует полоса отчуждения как чувственно воспринимаемое, имеющее вполне реальную протяженность пространство, в которой пребывает значительная часть еврейского населения; но есть и измерение социальное: евреев и женщин не допускают в университеты или значительно ограничивают этот доступ. Подобные практики порождают совершенно уникальные в своем роде ситуации, когда заведения вроде акушерских курсов в Киеве становятся питомником террористов и бомбистов<sup>64</sup>, а значительную часть активистов социал-демократической и эсеровской партий составляют евреи, которых на Руси издавна считали народом, склонным больше к коммерции, чем к бунту.

В послесталинский период технологический механизм впитывает множество дисциплинарных технологий; пространству абсолютного исключения (“спецпоселения”), привязанному к определенной географической точке или “пятну”, приходит на смену множество пересекающихся пространств частичного социального исключения. Например, в одном из таких пространств располагаются лица, подавшие заявления на выезд из страны (60—70-е годы в особенности, и прежде всего те, кого захватила связанная с периодом разрядки волна эмиграции в Израиль), в другом — исключенные по тем или иным причинам из КПСС, в третьем — лица, побывавшие в психиатрических клиниках, и т.д.

Власть уже не атакует, используя механизм исключения, она отвечает на сопротивление. Но если исключение порождает сопротивление, то оно перестает быть исключением в полном смысле слова, то есть исключением из пространства власти, и становится чем-то иным, дисциплинарными практиками, возникшими из практики исключения, но уже несводимыми к этим практикам.

#### 4. Изоляция как способ наказания. Специфика российской тюрьмы

В России в самые различные эпохи ритуал исключения предшествовал применению к исключенному механизмов наказания, от казни и телесных наказаний до помещения его в тюрьму, отправки на каторгу или в ГУЛАГ.

В принципе тюрьма является институтом, обеспечивающим осуществление наказания в форме лишения свободы. Все дело в том, что в России, где никто не был свободен и на свободе, утрата этой относительной свободы издревле не считалась властью достаточным наказанием.

Выше я уже отмечал, что система контроля, воплощенная в проекте паноптикона и, следовательно, имеющая весьма непосредственное отношение к тюрьме как институту, может показаться чрезвычайно жесткой, если рассматривать ее вне истории эволюции технологий власти и не учитывать того, что подобная дисциплинарная система приходила на смену технологиям, связанным с непосредственным физическим (чаще всего болевым) воздействием на человеческое тело.

Есть некая логика в том, что каждое новое “поколение” технологий власти, каждая новая ступень в их развитии (в том числе и дисциплинарные технологии Нового времени) начинают развиваться с наиболее жестких вариантов в рамках этой новой качественной ступени (я здесь пока умышленно оставляю в стороне ситуацию длительного сосуществования и переплетения “старых” и “новых” технологий). В России это проявилось в том, что с начала XVIII века в российских тюрьмах замена прямого физического воздействия на тело человека (или прекращение этого воздействия) изоляцией и тюремным заключением сопровождалась такими явлениями, как обеспечение *одиночного характера заключения* в огромном числе случаев, постоянным и *жестким надзором*, чаще всего непосредственным, *бессрочным характером заключения* (в подавляющем большинстве случаев) и нередко

также *деноминацией* узников, отнятием имени, анонимностью, безымянностью, “секретностью” заключения.

Особенности становления российской тюрьмы как института, обеспечивающего реализацию лишения свободы как формы наказания, были связаны с целым рядом обстоятельств. Прежде всего следует отметить, что в России практика заключения на протяжении длительного времени являлась не формой лишения свободы, а способом бескровного лишения человека жизни. Я сейчас умышленно оставляю в стороне вопрос, с какого рода религиозными и нерелигиозными представлениями было связано предпочтение, отдаваемое (в известных случаях) бескровному убийству (или, скажем, ослеплению вместо убийства); и как уже было отмечено (в связи с московскими событиями 1771 года), даже бунтовщики предпочитали не проливать кровь, например, внутри монастырских стен. Так или иначе, на протяжении длительного периода времени подданные и политические соперники князей/великих князей/царей, подвергнутые тому или иному виду заключения (заточения), были затем либо задушены, либо уморены голодом. Если перечитать, например, письма Андрея Курбского Ивану Грозному, то можно найти десятки примеров подобной практики.

Российская тюрьма как институт долгое время несла на себе этот отпечаток, отпечаток учреждения, главной функцией которого *лишение свободы* не является, учреждения, которое выросло из совсем иных практик, было вызвано к жизни совсем иными технологиями власти.

Далее, следует отметить, что не всякое заключение является *тюремным* в том смысле, о котором было сказано выше (то есть в смысле реализации механизма лишения свободы как дисциплинарной практики). На протяжении весьма длительного времени тюрьма в России была не столько местом лишения свободы, сколько местом пребывания преступника, совершившего то или иное преступление и находившегося там в период следствия по его делу. Иными словами, тюрьмы по своим функциям были ближе к нынеш-

ним следственным изолятором. После вынесения приговора большинство подсудимых отправлялось на каторгу или наказывалось традиционными способами, связанными с прямым воздействием на тело наказуемого... Небезынтересно также, что многие преступники, приговоренные к каторге, отбывали эту каторгу в тюрьме.

Дифференциация между двумя этими функциями мест заключения происходит медленно, непоследовательно; но уже в XVIII веке можно не без основания сказать, что Петропавловская крепость выполняла двойную функцию: содержания заключенного до окончания дознания, следствия или суда и собственно тюремного заключения, а Шлиссельбургская крепость была преимущественно местом заточения — пожизненного или до высочайшего повеления<sup>65</sup>. Замечу, что воплощенный в Шлиссельбурге и Петропавловке принцип предельной изоляции во время следствия сохранился и в советской тюрьме: так в 30-е годы, в разгар сталинского террора, на период следствия по важным делам заключенные помещались в так называемые “внутренние тюрьмы”; здесь условия содержания были, как правило, лучше (более чистые и просторные камеры, отдельная койка для каждого заключенного, кое-где даже постельное белье), но изоляция, в том числе от других заключенных, была абсолютной, а надзор — практически непрерывным (глазок в двери камеры открывался каждые пять минут)<sup>66</sup>.

Тюрьма как институт Нового времени начинает интенсивно совершенствоваться в России в связи развитием политических движений, прежде всего терроризма (“Народная воля” и т.п.). Тогда на место немногих “государственных преступников” и участников отдельных спорадических всплесков (типа неповиновения Семеновского полка или восстания декабристов) становится система политической борьбы, феномен XIX века, структурированная организационно и непрерывно воспроизводящая слой политических преступников.

Впрочем, начиная по крайней мере с последней четверти XVIII века в России начинают строиться специальные

тюремные здания (“смирительный дом” возле русла Мойки в Петербурге, построенная в 1800 году знаменитым зодчим Матвеем Казаковым новая губернская тюрьма в Москве — “московский губернский замок для содержания преступников”, новая тюрьма в Твери, описанная Коксом). В начале XIX века строятся тюрьмы в Иркутске, Нижнеудинске, Верхнеудинске, Нерчинске. Многие губернаторы просят денег на устройство тюрем; у местных администраторов появляется мысль, что тюрьму следует иметь в каждом уездном городе<sup>67</sup>.

Кстати, участие Казакова проявляет возросшую роль тюрьмы как общественного института и соответственную престижность подобного проекта — ведь Казаков до этого построил здание Сената в Московском Кремле, здание Московского университета, дом Дворянского собрания (впоследствии Дом союзов) со знаменитым Колонным залом, не говоря о многих других, не менее замечательных в архитектурном отношении проектах.

В данной работе нет возможности останавливаться на всех специфических чертах зарождения и утверждения в России института тюрьмы; многочисленные подтверждения и иллюстрации отмеченным чертам можно найти в работах по истории тюрьмы в России, прежде всего, конечно, в монументальном пятитомном исследовании профессора М.Н.Гернета.

Отмечу лишь две вещи. Во-первых, российский способ обеспечения *паноптичности* наблюдения *без* паноптикаона. По инструкции 1812 года о порядке в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и, насколько можно судить, по первой такого рода инструкции 1797 года, требовалось помещение в камеру каждого заключенного отдельного солдата (это — помимо троекратного посещения всех заключенных начальником караула). Именно поэтому охрана небольшой, рассчитанной первоначально на 26 камер (из которых, судя по всему, от двух до пяти служили для размещения чинов администрации, которые жили прямо в тюрьме) осуществлялась ротой сол-



дат, численностью в 50 человек<sup>68</sup>. (К известной авантюристке и *самозванке* княжне Таракановой в камеру были помещены офицер и два солдата, с тем, чтобы они находились при ней неотлучно днем и ночью, и несмотря на просьбы узницы, адресованные непосредственно императрице Екатерине II, это крайне тягостное для молодой женщины ужесточение тюремного режима не было отменено<sup>69</sup>.)

По свидетельству уже упоминавшегося англичанина Кокса, оставившего подробное описание московских уголовных тюрем, в каждой камере стоял солдат с обнаженной шашкой. Наконец, в известной записке Вальтера Венинга Александру I (1818 год) говорилось, что в кордегардии петербургского губернского правления в женской комнате с заключенными постоянно, днем и ночью, находились три солдата.

Во-вторых, следует отметить *предельный характер* локализации и изоляции. В наиболее известных крепостях-тюрьмах (Петропавловская крепость, Шлиссельбург, тюрьмы Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастыря и т.д.) пространство, в котором локализовался заключенный, было предельно (и даже запредельно) ограничено: площадь камер/казематов/”чуланов” (одиночных камер)/”номеров”/”изб” была часто такова, что помещенный в них человек не имел возможности выпрямиться в полный рост или лежа вытянуть ноги. Скажем, в тюрьме Кирилло-Белозерского монастыря камеры были площадью 1,8×1,8 м. В Соловецком монастыре камеры, расположенные в нижней части крепостных башен, были длиной в 4 аршина (около 2,8 м), 3 аршина шириной (2,1 м) и высотой от трех аршин у дверей до полутора аршин у противоположного конца, возле окна; в ниж-

---

\* “Избами” в российских тюрьмах и аналогичных учреждениях назывались не только собственно избы, находившиеся за тюремными стенами/оградой и использовавшиеся для содержания заключенных, но и отдельные помещения, камеры или комнаты в тех или иных тюремных зданиях; поэтому в документах XVIII-XIX вв. встречаются указания на две или три “избы”, размещенные под одной крышей.

ней части башен — камеры были в 2 аршина длиной (около 1,4 м), 1,5 аршина шириной (1,15 м) и 3 аршин высотой (2,1 м)<sup>70</sup>. В то же время изоляция была предельно жесткой: в большинстве случаев были запрещены прогулки. В лучшем случае они осуществлялись в ограниченном масштабе, в одиночку, в сопровождении караула и, таким образом, исключали общение заключенных между собой. Даже пищу заключенным в тюрьме Соловецкого монастыря доставляли, не входя в камеру, через отверстие в двери.

Только в начале XIX века происходит некое послабление тюремного режима; скажем, в тюрьме Соловецкого монастыря заключенным разрешаются прогулки, общение, хождение по очереди на кухню и за водой, правда, лишь в зимние месяцы, когда в монастыре не было богомольцев<sup>71</sup>.

Власть в России долгое время избегала правовой регламентации положения, условий труда и исчисления сроков наказания: так было во всяком случае до конца XVIII века. В 1845 году были установлены два вида каторги — срочная и бессрочная; определение продолжительности этой последней чаще всего отдавалось на усмотрение местного начальства, то есть устанавливалось произвольно (возможность усмотрения, кстати, определяет грань между *бессрочной* каторгой и каторгой *пожизненной* — первая могла быть прекращена *усмотрением начальства*, и каторжный мог быть, например, переведен на положение поселенца). Однако на практике бессрочное заключение/каторга часто означали именно пожизненное — предельное — наказание (между прочим, одна из дочерей Емельяна Пугачева — не вполне, правда, ясно, младшая или старшая — провела в Кексгольмской крепости около 60 лет).

Наконец, предельная изоляция достигалась тем, что заключенных нередко содержали *в темноте* (в Соловках в XVIII—XIX вв. даже ели “на ощупь”, без света). Распоряжение посадить кого-либо в подземную тюрьму и содержать заключенного таким образом, чтобы “он в ней ниоткуда света не имел”, было не редкостью; достаточно сказать, что с

такой формулировкой была осуждена к заключению в монастырской тюрьме известная своим свирепым обращением с крепостными помещица Салтыкова (“Салтычиха”)<sup>72</sup>. Г.Р.Державин, назначенный тамбовским губернатором, писал после ознакомления с местной тюрьмой о том, что в ней “более 150 человек, а бывает <...> и по 200, повержены и заперты, без различия вин, пола и состояния, в смердящие и опустившиеся в землю, без света, без печей, избы или, лучше сказать, скверные хлевы... <...> ...Согревает их одна только теснота, а освещает между собой одно осязание”<sup>73</sup>.

Пропустив несколько десятилетий и переместившись в век XX, мы можем зафиксировать то же стремление соединить изоляцию с лишением света и в сталинских тюрьмах. Небезызвестный Ежов в бытность свою наркомом внутренних дел приказал завесить ставнями все окна в тюрьмах, где содержались политические заключенные; ставни эти позволяли видеть лишь узкую полоску неба; их прозвали “ежовскими намордниками”. После суда над Бухариным ставни эти открывались лишь на 10 минут в сутки<sup>74</sup>.

Все это наводит на мысль, что российская тюрьма на всем протяжении ее существования весьма мало походила на паноптикон Бентама.

Названные выше жестокости были обусловлены не функциональными или рациональными соображениями, а прежде всего логикой существования и самовоспроизводства технологий власти; об этом свидетельствует то, что в огромном потоке описаний тюремного режима невероятно трудно найти упоминания о побегах заключенных; иными словами, предельно жесткие технологии дисциплинирования тюремного пространства не были следствием реальной опасности побега — они были демонстрацией власти как таковой.

Уголовные преступники, в отличие от совершивших преступления государственные, административные, воинские или преступления против веры, не подвергались жестокой изоляции; напротив, они содержались в сравнительно больших по-

мещениях по 10—20—30, а порой и более человек в камере. Так англичанин Кокс в 1778 г. обнаружил в Бутырской тюрьме в Москве 48 арестантов, содержавшихся в единственной камере, а спустя три года его соотечественник Говард обнаружил в этой тюрьме и также в единственной камере, хотя, по-видимому, и несколько расширенной, 130 заключенных<sup>75</sup>.

При этом нет серьезных оснований считать, что условия заключения уголовных преступников были лучше, чем у политических — просто *жесткость властных технологий* и *жесткость условий* заключения — это две разных системы координат; более жесткий контроль не всегда означает худшие условия содержания, и наоборот, ужасные условия содержания (какие были в большинстве провинциальных уголовных тюрем) не означали некоего более пристального внимания со стороны власти и ужесточения контроля. Колодки, кандалы, шейные цепи (включая цепи с двумя ошейниками, рассчитанные на двух заключенных), рогатки, так называемые “стулья” (нечто вроде тяжелой, более 20 кг, деревянной колоды с прикрепленной к ней цепью, удерживающей железный ошейник) использовались чрезвычайно широко. Более того, в каком-то смысле кандалы и “стулья” заменяют надзор, во всяком случае, обеспечивают жесткую локализацию арестанта, не позволяют ему перемещаться (не говоря уже о побеге). Привилегированное положение “уголовных” по сравнению с “политическими”, существовавшее в сталинских лагерях, сложилось гораздо позже и было одним из способов иерархизации и, следовательно, контроля заключенных.

Исследования М.Н.Гернета, а также его предшественников В.Савинкова, Н.Сергиевского и А.Филиппова, свидетельствуют о том, что в имперской России (так же как, вероятно, и во многих других странах в XVII—XVIII—XIX вв.)

*«в общей системе наказаний преобладающая роль принадлежала не тюрьме, а смертной казни, увечающим и болевым телесным наказаниям»<sup>76</sup>.*

Это было верно применительно как к Соборному Уложению 1649 года, юридически оформившему, в числе прочего, закрепощение крестьянства, так и к модернизационной эпохе Петра I (хотя именно Петр в 1691 году издает указ о замене смертной казни ссылкой на тяжелые работы, а в 1699 году — указ об отправке преступников в Азов на каторгу). Правда, при выборе между тюрьмой и телесным наказанием (там, где подобный выбор был) предпочтение отдавалось кнуту, плети, шпицрутенам и т.д.

Масштабы применения подобных наказаний были значительны. Приведу лишь один пример: после знаменитого “медного бунта” 1663 года, которому предшествовали не только провалы в финансовой политике правительства, но и широкомасштабное фальшивомонетничество и злоупотребление тех, кто по роду своих занятий должен был печатать деньги для государства, за *порчу денег* было казнено более 7000 человек и более 15000 наказано отсечением рук, ног, ссылкой, отобранием имущества и т.д.<sup>77</sup>

Причем тюрьма не была абсолютной антитезой практики телесных наказаний; за различные нарушения заключенные во многих тюрьмах наказывались плетью, розгами, нагайками и т.д. — в Соловецком монастыре имелось даже так называемое “лобное место”, то есть площадь для производства телесных наказаний. Точно так же обстояло дело с телесными наказаниями и в Шлиссельбурге<sup>78</sup>.

Кстати, телесные наказания для женщин сохранялись до карийской трагедии 1889 года, а практика телесных наказаний для мужчин существовала, сколько можно судить, до Февральской революции 1917 года. (Интересна трансформация определенного рода телесных наказаний в выполняющие те же функции дисциплинарные практики, например трансформация практики “усекновения языка” в ограничение свободы слова, вплоть до помещения разного рода диссидентов в психбольницы.)

С развитием политической борьбы и прежде всего терроризма институт тюрьмы интенсивно развивается; на

протяжении большей части XIX века именно тюрьма поглощает большую часть осужденных; казнь же становится событием все более редким, если не исключительным. Одновременно увеличивается доля приговоренных к тюремному заключению среди всех осужденных. Процесс этот идет неуклонно, хотя и не вполне равномерно. Так за сравнительно короткий период с 1860 по 1866 год назначение тюрьмы по приговорам судов выросло с 3,8% до 23,5%, причем цифры, характеризующие показатели по другим видам наказания, оставались относительно стабильными<sup>79</sup>. При этом остается незначительным количество смертных приговоров. По некоторым подсчетам, в течение восьми десятилетий, предшествовавших революции 1905—1907 годов, в России ежегодно казнили в среднем по 9 человек. (Здесь, правда, надо учитывать значительное число смертельных исходов при осуществлении приговоров к особенно тяжелым телесным наказаниям; есть данные, что только после подавления волнений новгородских военных поселян в 1831 году при исполнении телесных наказаний было забито насмерть 129 человек<sup>80</sup>.) В конце века значительный поток осужденных направляется на Восток: на Кару, на Сахалин, хотя по мере тюремного строительства возникает немало тюрем и каторжных централов и в европейской части страны...

Чрезвычайно важно отметить еще один аспект проблемы: воздействие на человеческое тело в жесткой системе технологий власти осуществлялось не только в форме болевого воздействия (пытки, телесные наказания, членовредительские приговоры и т.д.), но в форме тотального ограничения телесных практик, которое в России также принимало предельный характер.

Под ограничительным воздействием на индивидуальное тело я подразумеваю практику принудительного механического ограничения естественной подвижности, лишения индивидуального тела его естественного движения. Подобное достигалось при помощи колодок, кандалов,

“стульев” (тяжелого чурбана с прикрепленной к нему шейной цепью), шейных рогаток и цепей и т.п.

На протяжении весьма значительного времени практика лишения свободы сопровождалась весьма широким и произвольным применением того, что я называю средствами механического ограничения естественной подвижности. Лишь после известной записки Магницкого, поданной Александру I в 1820 году, применение разного рода оков ограничивается и регламентируется, а в 1826—1828 году, благодаря жесткости и последовательности императора Николая I, из всего арсенала оков легальным остается лишь использование кандалов. Подобный результат был достигнут не без труда; для этого пришлось использовать всю бюрократическую машину николаевской России, в частности было дано указание губернским прокурорам лично проконтролировать исполнение соответственных предписаний и, если в присутственных местах будут найдены колодки, “стулья”, цепи, немедленно их уничтожить<sup>81</sup>. О результатах проверки было приказано рапортовать “с первой почтой”; таким образом в Петербург попадали достаточно полные сведения о найденных на местах колодках и т.п. приспособлениях и, следовательно, о небрежении местных начальников исполнением распоряжений столичной власти.

Тем не менее унификация орудий, сковывающих узника или каторжника, не сильно облегчила его положение; к тому же оставшиеся легальными кандалы применялись долго и с определенными изысками. Так А.П. Чехов во время своей знаменитой поездки на Сахалин в 1890 году обнаружил в тюрьмах этого каторжного края заключенных, прикованных к тачкам, причем и ручными и ножными кандалами; тачка в данном случае не являлась орудием производства; каторжники с ней не работали, более того, они официально были причислены к числу неработающих; ночью арестант держал тачку под ногами, и для того, чтобы это было возможно делать, его обычно помещали на краю общих нар<sup>82</sup>.

Однако с течением времени лишение свободы получало все большее значение, в известной мере становясь на место других видов наказания. Этот процесс отразился в изданном в 1832 году Своде законов, хотя и здесь тюрьме и другим более легким видам лишения свободы как мерам наказания отводилась “очень скромная” (по выражению М.Н.Гернета) роль. Сроки тюремного заключения в Общей части Свода законов не указывались — таким образом продолжала доминировать идея бессрочного наказания<sup>83</sup>.

Вернемся к проблеме “существования” технологий. Очевидно, что наиболее последовательным, *знаковым* вариантом, четко фиксирующим переход от технологий власти, ориентированных на насильственное/болеющее воздействие на тело человека, к дисциплинарным технологиям, является отмена смертной казни (а в рамках движения к этой цели — упразднение заведомо жестоких, “негуманных” способов казни).

Отношение власти к смертной казни претерпевало в России на протяжении веков значительные изменения. Кажется, впервые она была отменена Елизаветой Петровной в 1754 году. Вскоре после Октябрьской революции смертная казнь была отменена (“навсегда”), после этого на некоторое время был введен расстрел, затем, в 1920 году, он был отменен, затем снова восстановлен... После Великой Отечественной войны ситуация развивалась аналогичным образом: смертная казнь была отменена в мае 1947 года и восстановлена в январе 1950 года.

Что касается способов казни, то последним казненным через повешение в СССР был — в мае 1984 года — бельгийский подданный Ермак Лукьянов, сотрудничавший в период Великой Отечественной войны с фашистскими оккупационными властями (“пособник” гитлеровцев). (Кстати, в ходе скандала по делу Асахары и его секты выяснилось, что в современной компьютеризированной Японии смертная казнь существует и, более того, осуществляется через повешение.)

По свидетельству председателя комиссии по помилованию при президенте России писателя А.Приставкина, в



СССР/России казнили примерно 700—780 человек в год; за последние 30 лет было приговорено к смертной казни и казнено около 21 тыс. человек. По этому показателю наша страна занимает абсолютное, “чистое” первое место в мире. Причем в государственные органы поступают заявления от совершивших тяжкие преступления и приговоренных к длительным срокам заключения людей, которые просят их казнить и, как с горечью сказал писатель, не потому, что всю жизнь сидеть, а потому, что это у нас всю жизнь сидеть.

После Великой Отечественной войны восстанавливается не только архаическая система наказаний, но и некий символический ряд, выявляющий эту архаику: так, например, для лиц, сотрудничавших с оккупантами, вводится смертная казнь через повешение и *каторга*. По указу от 22 апреля 1943 года каторгой могли быть наказаны те, кто сотрудничал с немцами. От обычных ИТЛ каторга отличалась тем, что осужденные использовались только на самых тяжелых работах и не могли ни при каких обстоятельствах работать по специальности.

Чрезвычайно важно для понимания российской техноструктуры и другое, а именно сохранение такого, как бы унаследованного с предыдущей ступени развития технологий властвования, положения вещей, при котором суровость наказания не находится в прямой зависимости от тяжести или опасности проступка/преступления.

В России при переходе к тюремному заключению как основной практике наказания соотношение меры проступка и меры наказания было чрезвычайно произвольно — по сути дела, так же произвольно, как и в период, когда преобладали технологии прямого воздействия на человеческое тело, то есть *пытки — телесные наказания — наказания, связанные с членовредительством, — смертная казнь* как наиболее распространенные формы наказания.

В XVIII—XIX вв. в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях заключенные сидели за проступки от политических заговоров, попыток государственного переворота

и изготовления фальшивых денег до распространения скопеческой ереси, игры в карты, разбития камнем фонаря в Зимнем дворце и продажи души дьяволу<sup>84</sup>.

Более того, приговоры нередко вообще не содержали какой-то вразумительной ссылки на конкретное преступление, на совершенное действие: такой-то “самого злого нрава, и гнусная душа его наполнена прямым злом против государя и государства” — и вот бессрочное, “до высочайшего указа”, содержание в Шлиссельбурге. Так Радищев в свое время был осужден со следующей формулировкой в судебном приговоре:

*«Книга под названием “Путешествие из Петербурга в Москву”, наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, наконец, оскорбительными выражениями противу сана и власти царской».*

В этом отношении можно сказать, что преследование диссидентов в СССР в 60—80-е годы за “злые мысли и гнусные души” имеет глубокие корни в русской властной традиции.

Наконец, практика была такова, что не только серьезность проступка не соответствовала тяжести наказания, но и реальное, фактически отбываемое приговоренным наказание не соответствовало приговору, наказанию юридическому. Подобное было весьма распространено, в частности, огромное количество заключенных, приговоренных к каторге, каторжным работам, бессрочной каторге и т.д., отбывали наказание в тюрьме или в крепости. Например, по свидетельству англичанина Кокса, осматривавшего московские уголовные тюрьмы в 1781 году, каторжники отбывали наказание в нижнем этаже башни Новгородского кремля, где помещалась тюрьма. Подобных примеров можно было бы привести десятки. Позднее строятся специальные каторжные тюрьмы и централы (среди наиболее известных тюрем такого рода — Карийская каторжная тюрьма в Забайкалье, Владимирский цен-

трал и т.д.), где устанавливается гораздо более суровый режим, чем в тюрьмах обычных.

“Десять лет без права переписки”, знаменитая формула сталинских времен — из того же ряда.

Констатированная выше произвольность действий власти, вероятно, была следствием того, что в России, в отличие от Западной Европы, постепенный переход от одной технологической модели к другой не сопровождался переходом от абсолютистской системы к относительно демократическому, правовому государству. Технологическая архаика консервировалась архаикой государственной, а реформирование государственных институтов, в свою очередь, сдерживалось архаикой технологической.

В контексте нашего исследования любопытно сравнить проект паноптикона Бентама и проект (реализованный на практике) московской губернской тюрьмы Матвея Казакова. В плане эти сооружения имеют нечто общее: сооружение Казакова представляет собой крест, окруженный шестигранной стеной, несколько тяготеющей к бентамовой окружности. Однако помещения, составляющие крестообразное здание, имеют, как это принято в российской традиции, глухие непроницаемые стены. Башни (в известном смысле аналог бентамовой вышки) находились по углам тюремной стены (что было в традициях русского крепостного зодчества) и могли быть использованы лишь для наблюдения над заключенными, находящимися во внутреннем дворе, — если бы тюремной администрацией были допущены прогулки. Однако едва ли не самое примечательное заключается в том, что в геометрическом центре симметричного (как и у Бентама) “тюремного замка” у Казакова находится не помещенный в башню наблюдатель (что бессмысленно, ибо его взгляд упирался бы в глухие стены), а тюремная церковь...

Таким образом, в последней четверти XVIII — первой четверти XIX века, то есть в период существования тюрьмы, который не столь известен, как последующий

(ибо последующий был связан с восстанием декабристов, в силу известных причин трактовавшимся в советский период едва ли не как центральное событие российской истории XIX века), российская тюрьма олицетворяла собой скорее старые технологии власти, нежели новые, дисциплинарные.

После Сталина происходят существенные изменения в глобальном механизме изоляции. Укореняется принцип условного наказания: изоляция в качестве наказания получает альтернативу, которую следует связать скорее с понятием *выделения*. Вместе с тем наряду с усилением дисциплинарных технологий в современном смысле слова происходит некая технологическая дегенерация, одряхление властного пространства как такового. Так после Хрущева, в “период застоя”, власть использует психбольницы вместо тюрьмы, камуфлируя наказание под некую социальную терапию, и тем самым сама ставит под сомнение свое право наказывать *за умысел против власти*.

## **5. Стратегия унификации. Трансформация русского произвола (Иван Грозный, Павел I, Сталин)**

Осуществление унификации предполагает установление принудительного равенства в самых различных сферах, от отношения к суверену до потребления предметов первой необходимости (что в большинстве случаев достигается через посредство соответствующего распределительного механизма).

Академик Д.С.Лихачев, пытаясь найти ключ к пониманию эпохи Ивана Грозного, высказал мнение, что жестокость и нетерпимость царя были не только его личными и случайными свойствами.

*«Эта жестокость лежала в социальном порядке вещей: эпоха подошла к воплощению полной средневековой унификации, — подошла, но не могла ее до конца осуществить. Монархическая же унификация казалась крайне необходимой после мучительных*

*столетий политических разладов и феодальной культурной раздробленности. Оставшееся для достижения идеала малое, казалось, уже не имело реальных сил для сопротивления. Но в том-то и крылась ошибка. Сопротивление монарху, всякое проявление хотя бы и небольшого произвола злило, вызывало жестокое подавление и вместо идеала усиливало деспотизм, а вместе с деспотизмом — произвол, дробление еще худшее, чем раньше, отделение и бегство из центра на окраины...»<sup>85</sup>.*

Эта оценка, безусловно, не исчерпывает эпохи Ивана Грозного и присущих ей внутренних противоречий, но проливает свет на логику действий самодержавной власти в России вплоть до периода “просвещенного абсолютизма”. Кстати, еще в 40-е годы историк С.Б.Веселовский отметил, что московские великие князья, начиная с Ивана III, проводили политику “общей нивелировки и подчинения всего и всех” своей “неограниченной власти”, вводили во всех областях жизни “безличные общие нормы отношений” и т.д..<sup>86</sup> За это Веселовский, между прочим, был порицаем некоторыми своими коллегами — утверждалось, в частности, что такая интерпретация связана с “отсутствием классового подхода к историческим явлениям”<sup>87</sup>.

Подход, заявленный С.Б.Веселовским и Д.С.Лихачевым, чрезвычайно важен для нас потому, что не только помогает определить место технологий унификации во всей системе властных отношений средневекового российского общества, но и понять значение унификации как средства переорганизации бытия властью в целом.

Для понимания механизма унификации российского общества важно также знать, на каком уровне и по какому образцу эта унификация осуществлялась. Еще в 40-е годы историк А.И.Яковлев показал объективные истоки существующего в русском обществе холопского начала (переведя проблему из плоскости морализации и рассуждений о гипотетических “особенностях национального характера” к реальным вещам; за давностью лет о работе Яковлева участники нынешних идеологических баталий

забыли или едва ли подозревают). Так вот, историк высказал весьма похожее на правду мнение о том, что выражение “холоп твой”, употреблявшееся в челобитных царю служивыми людьми, было не “раболепной метафорой”, а “простым адекватным выражением фактического положения: масса московского служилого класса вышла именно из холопства, воспитывалась на нем и жила под его идейным наследием, нивелируя нехолопьи элементы под общий холопский уровень”<sup>88</sup>.

Исследования академика Л.В.Черепнина подтверждают вывод А.И.Яковлева о *выдвиженчестве* холопов<sup>89</sup>; в то же время Черепнин, насколько я могу судить, не оспаривает вывода о “нивелировке под холопский уровень”.

Но технологическая структура, использующая для пополнения служивого класса холопские (в прямом, безоценочном, чисто социологическом смысле слова) элементы, надо признать, весьма специфична, хотя и имеет исторические аналоги (вольнотпущенники в Древнем Риме, евнухи в Китае и т.д.).

По мере развития гражданского общества в России, постепенного преодоления вассальных, патерналистских отношений между властью и подданными (становящимися *гражданами*), в процессе эмансипации сословий от государства, начавшемся после выхода манифеста о вольности дворянства в 1762 году, наконец, с появлением в обществе независимых от власти моральных парадигм сфера действия механизмов унификации постепенно ограничивается.

В XVII—XVIII вв. в России была создана модернизированная техноструктура (о которой речь уже шла). Ее признаками были предельное закрепощение крестьянства (стирание фактических различий между крепостными, прикрепленными к земле, и холопами, “прикрепленными” к хозяевам) и создание класса служилого дворянства. Последнее не могло быть осуществлено без первого. Подобная техноструктура требовала определенного рода унификации, причем своеобразной, двухуровневой унификации. Сначала было унифицировано

отношение крестьянского населения к землевладельцам; затем был унифицирован статус различного рода слоев правящего класса — они были помещены в единую “Табель о рангах” и в качестве служивых дворян оказались в одинаковом положении относительно высшей власти.

Тем не менее после Грозного и Петра в России еще не раз ощущается потребность в унификации. Один из таких периодов — короткий, но яркий период царствования Павла I.

Павел ввел практику унификации наказания: если, скажем, в екатерининские времена дворянам была дарована личная неприкосновенность, то при Павле возобновляются телесные наказания дворян, в частности порки унтер-офицеров из дворян. Прочитую Ключевского:

*«С самого начала царствования (6 ноября 1796) в многочисленных распоряжениях по разным отраслям управления, особенно по военной, он (Павел. — С.К.) проводит два главных начала этой программы — устранение привилегий и изъятий (во имя равенства перед законом) и однообразного порядка (во имя закона, взамен лично усмотрения)»<sup>90</sup>.*

Или в другой работе:

*«Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями — его главной задачей»<sup>91</sup>.*

Может показаться, что во времена Павла I механизм наказаний и мотивировка причин заключения вообще утрачивают всякую логику: значительная часть заключенных, отправленных в крепость “сумасшедшей памяти императором” (Денис Давыдов), содержалась там по курьезным и случайным поводам. Любой незначительный проступок, который произошел на глазах императора или о котором ему было доложено, означал для провинившегося заключение в крепости.

Кажется, что эту ситуацию можно охарактеризовать словом *произвол*, имея при этом в виду, что произвол — это не только жесткость, не только над-законность, но и отсутствие единого принципа действий. Однако механизм наказания, существовавший при Павле, только кажется ирраци-

ональным. На самом деле он призван в наиболее чистом виде продемонстрировать логику автоматического действия технологий власти, безразличных к поводу наказания и личности наказуемого, — машина власти функционирует, как бы абстрагируясь от всего этого.

Механизм наказания *должен* функционировать независимо от наличия или отсутствия поводов для наказания. Поэтому когда мы говорим об отсутствии принципа в карательной практике павловского режима, мы должны иметь в виду, что принцип — это нечто из сферы правовой логики. А логика власти — логика неправовая, бес-принципная, это логика иного порядка. И павловская модель как раз демонстрирует нам вторичность поводов и персон — и первичность технологических императивов. Ибо ситуация, когда наказание как акт максимально отделено от поступка наказуемого, от его вины и его личности, и есть про-явление технологий в чистом виде. (В этом смысле идеальным наказанием являются *децимации* — казнь каждого десятого, одна из форм коллективной ответственности, или массовые казни, осуществленные (по этническому признаку или по признаку коллективной ответственности, но во всех случаях вне связи с конкретными проступками подвергаемых наказанию) в ходе разного рода войн, оккупаций и этнических чисток, от операций гитлеровских карателей до акций сторон, противостоящих друг другу в недавних конфликтах на территории бывшей Югославии).

Н.Я.Эйдельман в одной из своих работ приводит фрагмент из неопубликованных записок Я.И.Санглена, руководителя тайной полиции при Александре I:

*«Павел хотел сильнее укрепить самодержавие, но поступками своими подкапывал под оно. Отправляя, в первом гневе, в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно. Это был чистый подкоп, ибо без этого различия самодержавие удержаться не может. Он нам дан был или слишком рано, или слишком поздно. Если бы он насле-*



*давал престол после Ивана Васильевича Грозного, мы благословляли бы его царствование...»<sup>92</sup>.*

Рассказывали, что на похоронах бывшего канцлера Безбородко, одного из ярчайших государственных деятелей екатерининской эпохи, Павел, не выказав большой скорби, произнес: “У меня все безбородки”<sup>93</sup>.

Однако попытки наложить средневековую унификацию на Россию, стоящую на пороге XIX века, были лишь кратковременным всплеском технологической архаики. Если и была возможна в России XIX века унификация более жесткая, чем в веке XVIII-м, то на основе иных, не средневековых технологий власти. Если Россия и готова была принять некую новую унификацию, то, во всяком случае, не павловскую.

Подобного рода техноструктура была создана в послеоктябрьский период, причем не в годы сталинского “большого террора”, но значительно раньше, в годы гражданской войны и “красного террора”. ЧК разного уровня вводят практику коллективной ответственности, маховик репрессий действует практически в автоматическом режиме, субъект преступления и объект наказания могут не иметь между собой ничего общего.

Суть сталинской унификации выражалась принципом: все равны перед террором. Террористическая унификация ломает все сложившиеся иерархии, которые существуют лишь в до-террористическом пространстве<sup>94</sup>.

## **6. Стигматизация. Доносительство как машина контроля**

Фуко пишет о стигматизации политического тела властью как о процессе, происходящем на микрологических уровнях социальности, там, где, минуя сознание, возможно чистое проявление отношений между властью и необходимым ей типом телесности. Таким образом власть добывается тех тел, которые необходимы ей для поддержания

отношений властвования: тела раба, тела производящего, тела эротического, тела аскезы и т.д.<sup>95</sup>.

Видимые проявления стигматизации (я буду употреблять как синоним также русское слово *выделение*) имеют определенные исторические формы. Первой известной в России формой выделения фигуры подданного властью была, насколько можно судить, практика клеймения преступников, то есть стигматизация в самом буквальном смысле слова. Практика эта зародилась в глубокой древности; уже в Двинской грамоте 1397 года предписывалось *всякого татя пятнати*; наибольшее число указаний о *пятнании* относится к XVII и XVIII векам — по указу 1637 года предписывалось преступникам “напятнати на щеках разжегши, а в пятне написати вор”; а сохранялась эта практика в России до 1863 года.

Даже в близком к нам XIX веке власть, оказывается, была озабочена не столько отменой, сколько совершенствованием этой архаической практики. В 1845—1846 годах (когда уже действуют первые участки первой в России Петербург-Московской железной дороги!) по решению Государственного совета прежнее клеймо “ВОР” заменяется тремя первыми буквами слова “каторжник” — “КАТ” (при этом первая буква ставилась на лоб осужденного, вторая — на правую щеку, а последняя — на левую); решено также клеймить беглых, каторжных, ссыльнопоселенцев и бродяг, не помнящих родства. Клейма накладывались при содействии фельдшеров на предплечье правой руки. Налагаемые знаки были трех видов и состояли из букв “СК” (ссыльнокаторжный), “СП” (ссыльнопоселенец) и “Б” (беглый)<sup>96</sup>.

Если требовалось нанести второе клеймо (за второй побег), оно наносилось под первым; всякая небрежность в деле клеймения преступников подлежала осуждению и рассматривалась как “явное послабление”, виновники коего подлежали наказанию; был издан особый циркуляр о том, как воспрепятствовать заклеянным уничтожать наложенные на их тело клейма<sup>97</sup>.

Таким образом, до середины прошлого века *выделение* осуществлялось посредством техники, ориентированной на прямое воздействие на человеческое тело; иными словами, в формах, типичных для додисциплинарных технологических структур.

Конец практики формальной, буквальной стигматизации фактически накладывается на возникновение практики явного, открытого и в то же время формального выделения объекта властью. Одной из мер в контексте предпринятого Александром III ужесточения властных механизмов было данное властью самой себе право ставить любого гражданина под *гласный надзор*. Поднадзорный принужден был сдать все свои документы и получить особое удостоверение, выдаваемое полицией. Поскольку подобный акт предполагал резкое ограничение прав индивида — поднадзорный не мог поступить на казенную службу, занимать какую-либо общественную должность, преподавать, заниматься некоторыми видами деятельности (владеть типографией, фотографией, торговать спиртным; адресованные поднадзорному письма, как правило, просматривались местными властями, например исправником, и т.д.), то подобного рода операцию власти можно также рассматривать и как практику *частичного исключения* в том смысле этого термина, в котором он уже употреблялся выше.

Форма гласного, объявленного контроля стала преддверием практик незримой, невидимой стигматизации. Ибо одна из последних (хронологически) форм выделения — невидимое выделение, то есть выделение, о существовании которого как действующего механизма предмет интереса власти может догадываться, но о том, что *именно он* уже помечен, выделен — часто не знает. Вместе с тем этот механизм лепит необходимое власти тело, поскольку вся *совокупность* индивидов знает, что *потенциально* этот механизм действует в отношении каждого из них.

Известно, например, что во второй половине 30-х годов значительная часть населения СССР была занесена в списки

особого отдела НКВД и его местных отделений и классифицирована по следующим категориям:

АС — антисоветские элементы;

Ц — регулярно посещающие церковь;

С — члены религиозной секты;

П — повстанец — всякий, кто в прошлом участвовал в антисоветских выступлениях;

СИ — имеет связи с иностранцами.

Легко можно заметить поразительное и безусловно неслучайное сходство между знаками, наносимыми в имперской России на тело человека, и текстуальными “клеймами”, используемыми машиной тоталитарной власти.

Историк Р.Конквест, приводящий сведения об этих тайных *знаках власти* в своей книге “Большой террор”, замечает:

*«Принадлежность к одной из этих категорий не давала еще законченных оснований для преследования, но все эти люди были взяты на учет. Как только местному отделению НКВД нужно было продемонстрировать рвение, их арестовывали»<sup>98</sup>.*

Масштабы стигматизации сами по себе не являются характеристикой того или иного политического режима; однако подобной характеристикой является стремление к *тотальности* выделения, когда — в идеале — все население становится выделенным и, следовательно, приуроченным к агрессии власти. А динамичное продвижение к тотальности обеспечивалось тем, что каждый, кто состоял в родственных, дружеских отношениях или просто был знаком с людьми, подвергшимися выделению, в свою очередь становился предметом избирательного внимания институтов власти.

У нас нет данных о том, каков был максимальный “уровень” стигматизации в СССР. Но известно, например, что после инкорпорации Литвы в состав Советского Союза в списках опасных элементов числилось 23 процента всего населения<sup>99</sup>.

Однако выделение индивидов в тех или иных анналах власти являлось лишь промежуточным результатом действия тех или иных властных технологий; и одной из наиболее

устойчивых, живучих технологий подобного рода, действовавшей на протяжении едва ли не всей известной нам российской истории, было *доносительство*.

Если мы попытаемся соотнести технологию доносительства с идеальной моделью конструктивной организации дисциплинарного пространства, каковой является паноптикон, то мы можем представить себе род паноптической конструкции, где взгляд *наблюдателя-на-вышке* не в состоянии охватить всех индивидов, находящихся внутри конструкции. Это происходит либо потому, что рядов (этажей) здания настолько много, что, по мере изменения угла зрения, в каждой камере появляются зоны, которые не просматриваются с точки наблюдения, либо из-за того, что объекты наблюдения настолько многочисленны, что их можно расположить в ограниченном пространстве (пределы которого определяются дальностью человеческого взгляда), лишь размещая одну камеру позади другой, а каждую следующую, в свою очередь, позади предыдущей. В последнем случае тотальность, *пан-оптичность* наблюдения и тотальность дисциплинирующего воздействия могут быть достигнуты лишь в том случае, когда за заключенным, находящимся в закрытом от взгляда *наблюдателя-на-вышке* отсеке, следит другой заключенный, например через смотровой глазок, соединяющий камеры между собой, но следит не ради собственного любопытства, а выступая как *агент власти*.

Но поддержание постоянного взгляда власти, проникающего в пространство частного существования, — не единственная цель подобной системы. Взгляд власти неизбежно обрывается, упираясь в нечто, представляющее собой отклонение от нормативного поведения *человека-в-камере*. Сталкиваясь с подобным отклонением и отражаясь, взгляд, независимо от того, взгляд ли это наблюдателя-на-вышке или агента власти, взгляд прямой или опосредованный, фиксирует это отклонение и *выделяет* нарушившего правила власти из числа прочих наблюдаемых. Индивид, который оборвал взгляд власти подобным образом, будет зафиксирован в качестве фигуры, совершающей ненормативное действие, станет уже иным, чем

все прочие; он помечен властью. Дальнейшее является уже прерогативой иных этажей власти, функцией иных узлов технологической машины, проблемой инстанций не только надзирающих, но и карающих.

В подобной ситуации власть как бы делегирует свои прерогативы надзора (но не организации надзора, не принятия решения и не наказания *тем-кто-под-властью*).

Потенциально в описанной выше гипотетической многослойной конструкции, где, в отличие от бентамова паноптикона, нет ни одной камеры, которая выходила бы одновременно во внутренний двор и во внешнее пространство, а обитатели подавляющего большинства камер видят лишь пространство соседнего отсека и в свою очередь видимы лишь из этого пространства, каждый размещенный внутри этой конструкции индивид является одновременно и наблюдателем, и наблюдаемым (и, потенциально, доносителем и объектом доноса).

Но если власть видит своих подопечных чужими глазами, получая о них не прямую, непосредственную, а опосредованную информацию, то это опять-таки значит, что, во-первых, взгляд власти реальный замещается взглядом власти метафизическим (или, если хотите, метафорическим) и, во-вторых, взгляд власти прямой замещается взглядом власти опосредованным.

Это уже не *пан*-оптикон в буквальном смысле слова, и это естественно, поскольку непосредственность дисциплинарных воздействий в принципе снижается по мере усложнения конструкции, дифференциации объектов власти и т.д. С другой стороны, при подобной организации пространства власти тотальность контроля возрастает, поскольку контролируются уже не только зрительные образы и соответственно движение заключенных в пространстве, их поведение, *действия*, но и вербальный ряд, слово, и следовательно, в какой-то степени их сознание, ментальность, мысли.

Подобный контроль поведения возможен лишь в том случае, если существуют какие-то установленные властью

правила поведения, если их несоблюдение наказывается и если карающая инстанция получает информацию о проступках, подлежащих наказанию (здесь мы абстрагируемся от проблемы корреляции между преступлением и наказанием, их адекватности, произвольности и т.д.).

Для контроля необходимо, чтобы агенты-информаторы имели определенный стимул (которым может стать и продвижение в одной из иерархий, и деньги, и просто сохранение жизни).

Для контроля необходимо также, чтобы контролируемые индивиды знали о наличии правил (законов) поведения, о существовании системы наказания, о существовании *именно такой*, основанной на доносе, *взаимном* доносе, системы получения информации. В связи с этим стоит вспомнить, что писал Фуко, размышляя о паноптическом устройстве Бентама:

*«Тот, кто подвержен полю видимости и знает об этом, принимает на свой счет принуждения власти, самопроизвольно изменяет их к себе, вписывает себя в отношение власти, в котором одновременно играет обе роли»<sup>100</sup>.*

Здесь важно только осознать изменение физических параметров (но не природы, не сущности) того, что Фуко называет *полем видимости*: поле видимости, образуемое прямым, физическим взглядом власти, в современных технологических метасистемах преобразуется в поле видимости, образуемое невидимым, метафизическим взглядом власти. В сущности, поле видимости, образуемое жесткой паноптической конструкцией, и поле видимости, образуемое совокупностью технологий, в число которых входит и доносительство, — это лишь два “поколения” одного и того же властного пространства.

Но с возникновением властного пространства *второго поколения* осуществляется мечта Бентама о превращении локализованной в пространстве и относительно закрытой дисциплинарной конструкции (типа паноптикона) в дисциплинарную сеть, пронизывающую все общество снизу доверху. Удастся

*«“разомкнуть” дисциплину и дать ей действовать во всем теле общества широким, рассеянным, многообразным и поливалентным образом» (М. Фуко)<sup>101</sup>.*

Предельно жесткая система правил, проросшая в глубины частной жизни, предельно произвольная система наказания, мало связанная с реальными проступками, и тотальная информация власти, тотальность которой есть факт, доведенный до сознания *тех-кто-под-властью*, и составляют тоталитарную систему.

Гибкая система правил, регулирующая лишь сферу отношений индивида с обществом и не претендующая на управление его частной жизнью, достаточно ясная и фиксированная корреляция тяжести проступка и суровости наказания и система информации, основанная на законе, не претендующая на тотальность и по преимуществу использующая (по крайней мере, на уровне легитимной практики) в качестве агентов людей, являющихся сотрудниками специальных структур и институтов, типична для либерального, правового общества.

Эволюция доносительства, бытие доноса в различные исторические эпохи, изменение роли и функций доносительства как инструмента, связывающего индивида с властью и создающего и воссоздающего определенную технологическую систему, были подробно рассмотрены мной в очерке “Донос в России”, опубликованном первоначально в журнальном варианте, а затем, в значительно расширенном виде и с соответствующим научным аппаратом, в одноименной книге<sup>102</sup>. Отмечу здесь (буквально в назывном порядке) лишь такие вехи в эволюции российского доноса, как изменение морального статуса доносительства во второй половине XIX века; трансформацию доноса в средство саморастворения индивида в политическом теле власти в годы сталинского террора; бюрократизацию доноса в годы брежневского застоя. Наконец, важным моментом является трансформация доносительства (в широком смысле, включающем и деятельность более или менее профессиональных информаторов) в средство пространственного контроля. Однако, в связи с ограниченностью объема данной работы, я позволю себе не повторять вновь конкретный



исторический материал, подтверждающий данные тезисы и выводы, отослав читателя к вышеназванной публикации\*.

\* \* \*

То, что в качестве исходного пункта размышлений на темы российского пространства был взят постулат Хайдеггера о том, что пространство надлежит понимать исходя из его внутренней сущности, и субъекту надлежит помнить, что как бы он ни вел себя, чем бы он ни занимался, какие бы усилия он ни предпринимал, пространство, в котором он, этот субъект, себя реализует, устроено не им, совсем не означает, что в понимании этого пространства и этой сущности автор следовал именно традиции Хайдеггера. Во всяком случае, нетрудно заметить, что одной из “точек опоры” (или точек отсчета) были избраны идеи, находящиеся в традиции русской общественной мысли, прежде всего исторической и философской, которая склонна была рассматривать российское пространство как важнейшую детерминанту всей отечественной истории, хотя при этом часто понимала его как чисто *географическую* реальность. Однако российское пространство — это не столько география, сколько система географических образов и обнаружений, посредством которых нам являет себя *власть*.

Поставить вопрос о сущности российского пространства — значит не только определить его в терминах “обширное” или “бескрайнее” и/или классифицировать его как фактор, оказавший то (или иное) положительное (отрицательное) влияние на ход российской истории. Или даже констатировать, что российское пространство бесконечно по своим интенциям, но в смысле физической географии, несомненно, конечно, — бесконечно лишь

---

\* Объем книги не позволяет остановиться еще на одной характерной для России технологии — *стирании имени*. Этот сюжет я затронул в одной из недавних публикаций, к которой и отсылаю читателя: см.: *Королев С.А. Похвальное слово г-ну Жириновскому // Архетип. 1996. № 1.*

пространство власти, ибо неограничены амбиции власти и безудержна ее экспансия.

Подойти к пониманию сущности российского пространства — значит прежде всего понять и определить присущий ему алгоритм самоорганизации и самосохранения, обеспечения своей целостности, создания и поддержания механизмов, противостоящих разрыву.

В России пространство всегда организовывалось *через-центр*. Это прежде всего означает, что никакими иными способами невозможно было обеспечить целостность самого этого пространства и локализацию населения — например, частная собственность и локализующий индивида экономический интерес в России отсутствовали или же не сложились в полной мере. Именно специфика российского пространства превращает технологии *локализации* в стержень российской технологической структуры, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Но *как* исторически возникает пространство, организованное через-центр? Выше уже было описано, как Русь заимствовала у Орды элементы ордынской технотехнологической структуры. Но важно отметить и другое: заимствовав технологические механизмы, Русь, несмотря на обилие татарских фамилий в российской истории и тюркских корней в русском языке, не заимствовала у Орды компонентов цивилизационных. Никакого *цивилизационного* синтеза не было, и эта констатация — повод для размышлений (и, вероятно, полемики) нынешним нашим евразийцам.

Москва стала коллективным откупщиком дани под крылом Орды и в сфере действия ее военной машины и одновременно тем ретранслятором, тем “окном в Азию”, через которое Русь восприняла ордынские технологии. Но значит ли это, что центростремительная структура российского пространства возникала не в соответствии с неким имманентным алгоритмом выживания и развития этого пространства, а как своего рода результат межструктурного, межцивилизационного взаимодействия? Чтобы ответить на этот вопрос, следует осознать,

что для того, чтобы Москва могла *стать* ретранслятором ордынских технологий властвования, она уже должна была *быть*, должна была существовать как данность и, что не менее важно, должна была возникнуть некая *потребность* в подобной организации пространства.

Действительно, российское пространство могло быть стратифицировано лишь через-центр, это, можно сказать, эманация его внутренней сущности, но уж *как* конкретно возникает этот центр, *где* он возникает, *какова* степень внешних влияний на этот процесс, *какие* точки пространства, заявив претензии на роль центра, не смогли осуществиться в качестве такового, — это вопросы совсем иного порядка.

Другой особенностью организации технологического пространства в России явилась *гипертрофия макротехнологий* — ибо главной задачей власти было “справиться” с *пространством* — и поэтому вторичными оказались дисциплинарные технологии, воздействующие на индивида.

К большому сожалению, в данной работе, прежде всего по причинам объема, не удалось рассмотреть такой феномен, как российский микрокосм власти, и функционирование соответствующих “микрокосмических” механизмов власти и контроля. Правда, в самом эскизном и фрагментарном виде эта проблематика затронута в ряде публикаций автора<sup>103</sup>.

Не пытаясь здесь изложить даже в самом сжатом виде “предварительные итоги” анализа такого сложного и многоликого феномена, как российский микрокосм власти, отмечу лишь одну из особенностей его технологического устройства, а именно дублирование на уровне микрокосма практически всех глобальных технологий власти: ограничение свободы передвижения во времени и пространстве, ограничение действия, жесткая, порой мелочная регламентация всех сторон жизни, унификация и пресечение любого рода индивидуального самовыражения, универсальность практик исключения и т.д.

Иными словами, даже технологии власти, функционирующие в микрокосме, являются в значительной степени слепком с макротехнологий — а микрокосм в этом случае

выступает не как качественно иная (по сравнению с макрокосмом) пространственная единица, а как уменьшенная копия этого макрокосма. “Позитивной санкции” власти на микроуровнях не существует, микрокосмы власти выстраиваются в соответствии с макротехнологиями, адаптированными для макрокосма. Подобная неразвитость и недостаточность “мелких” дисциплинарных технологий часто ведет к катаклизмам и разрывам технологической ткани, когда “большие” технологии по каким-то причинам оказываются неэффективными.

Механизм взаимодействия технологий сложен, можно было бы сказать, — “диалектичен”. Сложная и примитивная одновременно, громоздкая и элементарная, расположенная на плоскости географического пространства и в то же время пронизывающая множество соотнесенных друг с другом уровней социальности, эта технологическая машина непрерывно работает — локализуя, перемещая, снова локализуя на новом месте; унифицируя — иерархизируя — и вновь унифицируя в рамках очередной иерархии; исключая — заключая — исключая частично и т.д. и т.п. А эта непрерывная *работа власти* удерживает специфическое российское пространство, во всяком случае, до тех пор, пока оно существует как пространство, организованное *через-центр*.

История России не дает нам оснований говорить о постепенной технологической эволюции — скорее мы сталкиваемся с периодами плавного, экстенсивного технологического развития, перемежающимися попытками технологических рывков и последующими провалами в технологическую архаику. И уже в нашем XX веке мы фиксируем функционирующие в рамках тоталитарной системы механизмы принудительной локализации без чумы, исключения — без проказы, унификации — без необходимости выживания.

Власть всегда относится к “прокаженным”, как к “чумным”, и часто — к “чумным”, как к “прокаженным”. Но, во всяком случае, в XX веке, она также способна и, более того,

вынуждена обращать чумных в прокаженных, а прокаженных — снова в чумных; на этом зиждется динамика, непрерывность действия мегамшины власти.

Механизм действия этой власти не лишен внутренних противоречий; для того, чтобы обеспечить действие одних технологий или сохранить структуру централизованного пространства, нередко приходится ослаблять другие; технологические конфликты в той или иной степени присущи, вероятно, любой техноструктуре. Но мегамашина власти функционирует не на основе конфликта, а на основе технологической дополнительности: локализация — депортация, унификация — иерархизация и т.д.

Технологический синтез ордынских и русских технологий при сохранении цивилизационной самобытности Руси заложил на многие века вперед зерна ряда типичных противоречий и конфликтов. Это, во-первых, противоречие между *властью* и *государственностью* (весьма отчетливо проявившееся, например, как в весьма далекие от нас времена Ивана Грозного, так и в достаточно близкие — вспомним СССР начала 90-х годов). Это, во-вторых, противоречие между *властью* и *цивилизацией*, цивилизационным началом (хрестоматийный пример такого рода — западническая модернизация Петра I). Наконец, это конфликт между *властью* и *обществом* (Россия в царствование Павла I, когда была принята попытка прямолинейной унификации уже в высшей степени сложно иерархизированного общества, Россия после октября 1917 года и т.п.).

Как проявятся эти имманентные для России противоречия, какие формы примет неизбежный конфликт жесткого, с привкусом татарщины, технологизма и в той или иной степени противостоящих ему социокультурных, политических, государственно-правовых цивилизационных архетипов, всего того, что связывается сегодня с понятием национальной идентичности и надеждой на национальное возрождение? И что представляет сегодня большую опасность — не раз и не два пережитый Россией синдром техно-

логической недостаточности, бессилия власти, или технологическая избыточность и гипертрофия властного начала?

Грань веков всегда была в России тяжким временем: Смута, порожденная бездарным окончанием века XVI-го, бессилием *достигшего высшей власти* Годунова, этого легитимного самозванца, правление которого отнюдь не было *good enough*; крутые расправы Петра I с непокорными стрельцами, властолюбивой сестрой, наследником и предельное жесткое обращение с наличным человеческим материалом; холодный ужас царствования Павла I и окрашенное в кровавые тона восшествие на трон сына его Александра, царствование которого было не менее мозаичным и противоречивым, чем правление “царя Бориса”; наконец, вползание монархической России в череду войн и революций на изломе XIX—XX веков... И хотя до конца века XX-го осталось еще несколько лет, небольшой хвостик, и, казалось бы, еще есть время и возможность проявить себя *ответственному субъекту*, — вот они, избирательные бюллетени... нам дали их вчера, нам дадут их завтра... и послезавтра... Увы, отечественная история дает весьма мало оснований для исторического оптимизма. Подтвердит ли Россия свою способность выбирать из плохого и очень плохого — наилучшее, самое страшное? Или сумеет удержаться над пропастью и удержать в рамках человеческого и морального зыбкую и подвижную, стихийно утверждающую себя черту нормализации, не делая аномальное повседневною практикой? Какой даст ответ история на эти вопросы — известно пока одному только Богу.

---

<sup>1</sup> Фуко М. Надзирать и наказывать. С. 53.

<sup>2</sup> Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2. М., 1991. С. 163.

<sup>3</sup> Там же. С. 164.

<sup>4</sup> Замечу в скобках: в данной работе, рассматривая как общество в целом, так и определенные общественные подсистемы, я исследую лишь один его срез — *власть*, отношения, технологии власти. Для осуществления подобной задачи в принципе достаточно построить

некую идеальную модель общества как эманации власти, от остального следует по возможности абстрагироваться. Естественно, в реальности, в конкретных исторических, национальных, хронологических контекстах действуют многие другие, *не-властные* факторы, которые смягчают, скрывают действие технологических машин, выступают им противовесом, не дают власти проявиться в чистом виде. Поэтому, если, исследуя пространственные и локальные структуры власти, я привожу тезис о “бродяжничестве” российского крестьянства, то это не означает, что соответствующая историческая теория может быть принята безоговорочно. Более того, мне, разумеется, известно о критике этой теории (которой придерживались и К.Д.Кавелин, и П.Н.Милоков, и в какой-то степени даже В.О.Ключевский), критике, особенно усилившейся в советской историографии. Но эта критика не столь существенна в контексте *данного* исследования. Все вышесказанное относится и к известному тезису о *блуждании* князей по Киевской Руси.

- 5 См.: *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках. С. 245–251.
- 6 *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. С. 25.
- 7 *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 164–165.
- 8 *Леонтьев К.Н.* Избранное. М., 1993. С. 185.
- 9 См.: *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства. С. 256–263.
- 10 Там же. С. 220–221.
- 11 См., например: *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. М., 1989. С. 56.
- 12 *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. I. М., 1988. С. 512.
- 13 См.: Памятники московской деловой письменности XVIII века. М., 1981.
- 14 *Рождков Н.А.* Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. М., 1899. С. 305.
- 15 Там же.
- 16 *Покровский М.Н.* Избр. произведения: В 4 кн. Кн. I. С. 296.
- 17 *Рождков Н.А.* Сельское хозяйство Московской Руси XVI веке. С. 305.
- 18 *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 108.
- 19 *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. М., 1989. С. 220–221.
- 20 *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. I. С. 91.
- 21 Там же. С. 95.
- 22 *Греков Б.Д.* Крестьяне на Руси с древнейших времен до середины XVII века. Кн. I. М., 1952. С. 404.
- 23 *Веселовский С.Б.* Род и предки А.С.Пушкина в истории. М., 1990. С. 26.
- 24 *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. I. С. 257.

- 25 См., например: *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. III. М., 1989. С. 47-48; *Покровский М.Н.* Избр. произведения. Кн. 1. С. 257.
- 26 *Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая степь. С. 624.
- 27 *Греков Б.Д.* Краткий очерк истории русского крестьянства. М., 1958. С. 224.
- 28 Там же.
- 29 *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. С. 219.
- 30 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы: В 5 т. Т. 1. 1762-1825. М., 1951. С. 311.
- 31 Там же. С. 307.
- 32 Там же. С. 311.
- 33 Чрезвычайно серьезное и тщательно выполненное исследование практик паспортного контроля в СССР не так давно было опубликовано в “Новом мире” — см.: *Попов В.* Паспортная система советского крепостничества // Новый мир. 1996. № 6.
- 34 *Бардзивиц Л.* Неблагонадежные европейцы // Новое время. 1993. № 39. С. 58.
- 35 Там же.
- 36 *Суханов Н.Н.* Записки о революции: В 3 т. Т. 1. М., 1991. С. 229.
- 37 См.: *Дикущина Н.И.* Блок и Луначарский // Лит. наследство. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 303-304.
- 38 *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. IV. С. 39.
- 39 *Костомаров Н.И.* Исторические монографии и исследования: В 2 кн. Кн. 1. М., 1989. С. 60.
- 40 *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. С. 113.
- 41 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 1. С. 61.
- 42 См.: *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы: Полит. борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 211-212.
- 43 См.: Лишенцы. Публ. А.И.Добкина // Звенья. Ист. альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 609.
- 44 См.: Ссылные мужики. Правда о спецпоселках. Публикация Н.В.Тепцова // Неизвестная Россия. XX век. Кн. 1. М., 1992, а также: *Славко Т.И.* Кулацкая ссылка на Урале 1930-1936. М., 1995.
- 45 Ссылные мужики. Правда о спецпоселках. С. 252.
- 46 Там же. С. 210.
- 47 Там же. С. 201-202.
- 48 Там же. С. 232.
- 49 Там же. С. 234.
- 50 *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства. С. 311-312.
- 51 См.: *Котошихин Г.* О России в царствование Алексея Михайловича / / Бунташный век. Век XVII. М., 1983. С. 503.



- 52 *Зимин А.А.* И.С.Пересветов и его современники. М., 1958. С. 24.
- 53 Там же.
- 54 См., напр.: *Irsigler F., Lassotta A. Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker: Randgruppen und Aussenseiter in K1ln in 1300–1600.* K1ln, 1984. Краткий реферат этой книги можно найти в сб.: *Культура и общество в средние века: методология и методика зарубежных исследований.* Вып. II. М., 1987.
- 55 См.: *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. V. М., 1990. С. 282.
- 56 См.: там же. С. 467.
- 57 Незапечтальный труд. С. 432.
- 58 *Конквест Р.* Большой террор // Нева. 1990. № 5. С. 162.
- 59 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 36. С. 203.
- 60 См.: Лишенцы. С. 605.
- 61 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 37. С. 265, 291.
- 62 См.: Лишенцы. С. 600, 608, 609.
- 63 Там же. С. 602.
- 64 Желаящим удостовериться в этом я предлагаю ознакомиться хотя бы с пространными примечаниями — фактически аннотированным именованным указателем — к известным запискам жандармского генерала Новицкого — см.: *Новицкий В.Д.* Из воспоминаний жандарма. М., 1991. С. 194-250.
- 65 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 1. С. 178.
- 66 *Конквест Р.* Большой террор. С. 161-162.
- 67 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 1. С. 274-275.
- 68 Там же. С. 126-127, 168-169.
- 69 Там же. С. 152-153.
- 70 См.: там же. С. 239, 219.
- 71 Там же. С. 230.
- 72 Там же. С. 241.
- 73 Там же. С. 261.
- 74 *Конквест Р.* Большой террор. С. 161.
- 75 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 1. С. 251, 253.
- 76 Там же. С. 112.
- 77 См.: *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. VI. М., 1991. С. 189.
- 78 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 1. С. 228, 213.
- 79 Там же. Т. 2. С. 525-526.
- 80 Там же. С. 516.
- 81 Там же. С. 293.
- 82 *Чехов А.П.* Остров Сахалин // *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 14-15. М., 1987. С. 141.
- 83 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 1. С. 116-117.

- 84 Там же. Т. 1. С. 203, 214.
- 85 *Лихачев Д.С.* Литература “государственного устройства” (середина XVI века) // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985. С. 15—16.
- 86 См.: *Веселовский С.Б.* Феодалное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. 1. М.; Л., 1947. С. 212.
- 87 См.: *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства. С. 120.
- 88 *Яковлев А.И.* Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. Т. 1. М.; Л., 1943. С. 43.
- 89 См.: *Черепнин Л.В.* Образование русского централизованного государства. С. 255, 257-263.
- 90 *Ключевский В.О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 246-247.
- 91 *Ключевский В.О.* Соч. Т.V. С. 189.
- 92 Цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. С. 149 (курсив мой. — С.К.).
- 93 Там же. С. 164.
- 94 О том, как функционирует и эволюционирует тоталитарное, террористическое пространство, см.: *Подорога В.А.* Бессознательное власти. С. 55-76.
- 95 Подробнее об этом см.: *Подорога В.А.* Власть и познание (археологический поиск М.Фуко). С. 236.
- 96 *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 2. С. 51-52.
- 97 Там же. С. 51-52.
- 98 *Конквест Р.* Большой террор. С. 156.
- 99 Там же.
- 100 *Фуко М.* Надзирать и наказывать. С. 54.
- 101 Там же. С. 55.
- 102 См.: *Королев С.А.* Донос в России. Опыт социально-философского исследования // Дружба народов. 1995. № 2.
- 103 См.: *Королев С.А.* Микрофизика власти: эскерсис о нормах советского общежития // Независимая газ. 1993. 23 окт.; *Королев С.А.* Точки-в-хаосе. Микрособытие как квинтэссенция технологий власти // Архетип. 1996. № 2; *Королев С.А.* Недреманное ОКО. Технологии власти в микросоциуме // Независимая газ. 1996. 28 мая.

Научное издание

**КОРОЛЕВ Сергей Алексеевич**  
**БЕСКОНЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО:**  
**гео- и социографические образы власти в России**

*Утверждено к печати Ученым советом  
Института философии РАН*

Художник *В.К. Кузнецов*  
Корректоры: *Е.В. Захарова, Т.М. Романова*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.93 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 20.05.97.  
Формат 70х100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.  
Усл. печ. л. 07,31. Уч.-изд. л. 10,69. Тираж 500 экз. Заказ № 024.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН  
Компьютерный набор автора  
Компьютерная верстка: *А.В. Егоров*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН  
119842, Москва, Волхонка, 14